

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ

ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

КИНОПОВЕСТЬ

Долгую темноту медленно и робко прокалывает движущийся будто бы издалека, из некоей бездны, мелко плещущий огонек свечи. Постепенно становится видно, что огарок, стоящий на блюде, несет женщина; она идет из коридора, входит в комнату через отворенную дверь и ставит свечу на стол, у небольшого зеркала. Комната озаряется неверным, колышущимся светом.

Типичная квартирка шестидесятых годов, «распашонка». Очевидный налет интеллигентности, тоже образца шестидесятых: на стене модное в ту странную пору фото улыбающегося в седую бороду Хемингуэя; книги, книги; полная полка пластинок над допотопным электрофоном. Пара пластиночных коробок лежит, едва помещаясь, на тумбочке, на которой стоит электрофон, и видны названия: «Бах. Страсти по Иоанну»; «Всенощная» Рахманинова.

Женщина присаживается перед зеркалом и торопливо наводит макияж, непрерывно то ли разговаривая с кем-то, то ли просто болтая вслух и комментируя едва ли не каждое свое действие. Голос веселый, оживленный, бодрый:

— Ну вот, опять не успела. Такое впечатление, знаешь, что они электричество все раньше и раньше отключают. Наверно, думают, что люди на работу все раньше и раньше расходятся... Ой! Промажнулась... — это о туши, которую наносит на ресницы лихорадочными, привычно поспешными движениями. — Собственно, логика в этом есть, правда? Транспорт ходит все хуже, значит, чтобы успеть на работу, надо выходить все раньше... Так, теперь другой... Сейчас... Сейчас Маринка будет красотка! И — на подвиги! Хорошо, что мне не надо к определенному времени... А в институт я сегодня тоже найду. Мало ли... Они, конечно, не звонят, но это ничего не значит... могли и забыть... — вдруг начинает напевать: — Этот день полочки порохом пропах, это радость со слезами на глазах... — сама же и смеется в полной тишине. — Ну, так. Щетки подрумяним... Хотя, конечно, мороз этим и сам займется... может, не тратить драгоценное зелье? Как думаешь?

Оборачивается немного в сторону, рука замерла на весу. Тишина.

Киносценарий «Хроники смутного времени», послуживший основой одноименной киноповести, был написан по оригинальной идее К. С. Лопушанского и при его участии.

Константин Сергеевич ЛОПУШАНСКИЙ. Родился в 1947 году. Кандидат искусствоведения, кинорежиссер, кинодраматург. Лауреат Государственной премии России (1987), заслуженный деятель искусств РФ. Фильмы: «Союз» (1980), «Письма мертвого человека» (1986), «Посетитель музея» (1989), «Русская симфония» (1994).

Вячеслав Михайлович РЫБАКОВ. Родился в 1954 году. Кандидат исторических наук, востоковед, писатель, публицист. Лауреат Государственной премии России (1987). Книги: «Очаг на банне» (1990), «Свое оружие» (1990), «Гравилет „Цесаревич“» (1995), «Дерни за веревочку» (1996), двухтомное собрание избранных произведений (1997), «Трудно стать Богом» (1997).

— Ладно, не будем скупердяями. Это не для нас. Будем победителями. И будем выглядеть, как победители. Мне, между прочим, еще за машинопись должны заплатить. Как раз сегодня и отнесу эту грудку... Вот... вот так... Готова к труду и обороне, — одним движением упикивает все хозяйство в косметичку, рывком затягивает молнию. — Свечку я погашу, ты не против? Ее уж совсем чуток осталось... Через полчаса все равно светать начнет, я выглядывала в окошко — небо почти ясное, звездочки видны... Ты не против, а?

Раздается какой-то странный звук — горловое, гортанное, стиснутое: «Ы-ы-ы!»

— Ну, вот и ладушки, — женщина, снова обернувшись, улыбается весело и ласково. Но — мельком. Так быстро, как только позволяет норовящее погаснуть пламя свечи, уходит в коридор, утрамбовывает огромную, истертую, ветхую наплечную сумку, много лет назад бывшую молодежной и модной. Какие-то толстенные, тяжеленные папки впикивает в ее утробу, какие-то бумаги... Потом накидывает зимнее пальто, обувается — все лихорадочно, все впопыхах, кое-как. И постоянно оглядывается в комнату, откуда донеслось это единственное ответное «ы!». Глаза панические, умоляющие, виноватые. Видна вешалка с одеждой — все висит тоже кое-как, и лишь отдельно, аккуратно, на плечиках — китель с майорскими звездами на погонах и орденом Героя России на груди. — Побежала! Не скучай, пожалуйста, я везде бегом шустренько и назад. Почитаем сегодня, пока свет дают... Или музыку послушаем. Да?

Тишина. Женщина ждет несколько секунд, даже шею чуть вытянув от напряжения.

— Радио включить? Пусть бубнит, пока меня нет, а?

Тишина. Потом все-таки раздается: «Ы-ы!» Женщина стремглав бросается на кухню, где на стене висит простенький репродуктор, включает звук. С полуслова начинается какая-то реклама. «...Золотое кольцо? Пожалуйста! Обручальное кольцо с бриллиантом? Ну, конечно! Докажите вашей избраннице искренность ваших чувств! Ведь она этого достойна!»

Женщина, никак не в силах уйти, бежит обратно в комнату — к затерянной в сумраке постели, на которой угадывается укутанный одеялами лежащий человек с запрокинутым лицом. Женщина наклоняется, целует его в щеку, а затем, все так же торопливо, бежит обратно к выходу, открывает дверь на темную лестницу и только тогда задувает свечу.

Буквально на ощупь Марина спускается по лестнице и открывает дверь на улицу.

Впрочем, это трудно назвать улицей. В свете разгорающегося жестокого морозного восхода видно, что вокруг дома тянется покрытый превращенным в лед утопанным и укатанным снегом тротуар, но он никуда не ведет, сразу за ним — кочковатое подобие тундры или торосистого ледяного поля, иссеченное и изрытое какими-то траншеями, кучами вывороченной земли, заваленное торчащими в разные стороны, тоже заснеженными, трубами... Кое-где эту пустыню пересекают натоптанные тропинки: вверх-вниз, вверх-вниз...

Неподалеку от двери урчит «жигуль», извергая в ледяной воздух мерцающие в бритвенно остром свете зажженных фар клубы прогретого перегара. Рядом с ним возится человек. Он замечает Марину и делает шаг ей навстречу:

— Доброе утро, Марина Николаевна.

— Доброе утро, Вадим Сергеевич, — отвечает Марина, чуть замедляя шаги, но явно не собираясь задерживаться. Он почти заступает ей дорогу; между поребриком тротуара, за которым торосистая пустыня, и боком его автомобиля зазор не более полуметра, и его легко перекрыть.

— Как ваши дела?

— Прекрасно, — отвечает Марина, вынужденно останавливаясь.

— Ну, я рад. А у меня, представьте, чуть колесо не сняли сегодня. Выхожу, а какой-то хмырь возится... Я от неожиданности как гаркну на него... Вот что самое удивительное, — пар, видимый в отраженном свете фар, валит от его рта, — что я гаркнул. Подумал бы хоть секунду — испугался бы орать... вдруг по черепушке съезды. А тут Бог спас. Мужик сам усвистал, я болты подзатынул только, и все в ажуре... Нельзя оставлять тачку под окнами, нельзя, — вздыхает он. — И в то же время до стоянки ближайшей столько же трястись, сколько и до работы... тогда уж и машина не нужна. Ума не приложу, что делать.

— Плохо человеку, которому есть что выбирать, — улыбается Марина и пристукивает ногой об ногу; в стареньких вытертых сапожках она сразу начинает мерзнуть.

— И не говорите! — жизнерадостно смеется Вадим Сергеевич. — А... а... — он коротко взглядывает исподлобья, — Марина Николаевна, а вы не зашли бы как-нибудь в гости... поболтать? Чтоб не на морозе, а с чувством, с толком...

— Отчего же нет, — с автоматической приветливостью говорит Марина. — Когда-нибудь... вот посвободнее стану... Сейчас работы очень много, только успевай поворачиваться.

— Да, время такое... Жить буквально некогда. Я вот тоже кручусь-верчусь, кручусь-верчусь — а все без толку как-то, радости нет... Разве что вы зайдете — вот мне и радость...

— Вы преувеличиваете.

— Совершенно ничего не преувеличиваю.

— Ну, может, мы потом это обсудим? — не выдерживает Марина. Мужчина спохватывается, смотрит на часы.

— Да-да, мне тоже ехать пора.

— А мне идти, — говорит Марина.

— Ну, Марина Николаевна, вы сами виноваты. Я подавал бы вам транспорт в любое время дня и ночи.

— Спасибо, Вадим Сергеевич, но у меня нет денег на такую роскошь.

— Зачем же вы меня обижаете? Я совсем не за деньги.

— А совсем не за деньги — и подавно нет.

Мужчина стоит неподвижно еще несколько секунд, потом, едва не ударив Марину дверцей — Марина отшатывается, и непонятно, ударил бы он ее, если б она не успела отшатнуться, или нет, — открывает свой «жигуль» и садится к рулю. Марина поправляет тяжелую сумку, прыгнувшую с плеча от резкого движения.

— Напрасно, Марина Николаевна, напрасно. Пробросаетесь.

Дверца резко захлопывается, и машина тут же, коротко вжикнув протекторами о ледяную корку асфальта, трогает с места и укатывает, обгоняя Марину. Заворачивает за угол дома — вероятно, там есть выезд. В режущем белом свете галогенных фар плывут торосы и трубы.

Марина, подняв повыше воротник, чтобы не задувал ветер, с разбухшей, то и дело сползающей с плеча сумкой карабкается по серпантину тропинки, взбирающейся на одну кучу выбранной земли, потом спускается, лавируя, потом снова карабкается вверх; по шатким, скользким мосткам пересекает какие-то канавы...

Разгорается восход, яркий, кровавой, иссеченный лезвиями серых морозных облаков. Темными мертвыми коробками громоздятся на его фоне дома, какие-то промышленные трубы, над которыми наискось, кренясь по ветру, встают султаны то бурого, то белого дыма, ажурные, но уродливые опоры линии электропередач... С обвисшим хоботом чернеет перекошенный контур безжизненного экскаватора.

Медленно и надсадно, то совсем почти замирая, то с воем разгоняясь, катит по промороженному городу битком набитый трамвай. Снаружи — полутьма, и внутри — полутьма, и серые-серые лица одно вплотную к другому. И Марина среди них. Пар от дыхания. Сквозь наледь на окнах смутно видны проплывающие мимо огни, какие-то размытые цветные пятна... Когда свет восхода прорезается в промежутки между плывущими тенями корпусов, ледяная короста чуть окрашивается в розовый цвет; потом снова наползает серая мгла.

Кто-то продышал или пятерней протаял небольшое прозрачное оконце — и сквозь него угадываются бесконечные промышленные громады, бесконечные краснокирпичные заборы промышленной зоны, которую пересекает трамвай, бредущие вдоль заборов сгорбленные люди...

Марина в коридоре чужой квартиры. Совсем иной квартиры — комнаты куда больше, и коридор не кишкой, а едва ли не вестибюлем. Двери в комнаты из коридора красиво застеклены. Книги, книги... Длинный сухопарый старик в очках, в джемпере поверх свитера с высоким воротником, с замотанной шарфом шеей и в теплых лыжных брюках перебирает страницы машинописи. Страницы шуршат, их много.

— Какая же вы умничка, Марина Николавна. И точно в срок, и, я смотрю, опечаток нет совсем... Как всегда... как в добрые старые времена. Честное слово, если вы рядом, никакой компьютер не нужен.

— Ну что вы, Борис Моисеевич, — улыбается Марина. На губах улыбка, а глаза — затравленные и ждущие, собачьи.

— Да и стар я уже компьютерам учиться... Мариночка Николавна, посидите хоть полчасика, развлеките старика. Раздеться не предлагаю, правда, идите так. У меня одиннадцать градусов в кабинете.

— Ужас какой! — искренне сочувствует Марина.

— Да, как говорят теперь молодые, не фонтан... Ну, это еще ничего. На первом этаже, у Красницких, вообще семь. Скоро уйдет за ноль, трубы полопаются вконец, и тогда уж мы до весны не оттаем... Так проходите, Мариночка. Вы такая веселая всегда, такая жизнерадостная. Попьем чайку с вами, чаек согревает...

— Некогда мне, Борис Моисеевич. Спасибо вам. Правда некогда.

— Ну, чем же мне вас... — мнется старик. — Понимаете, Марина Николавна... заплатить-то я вам сейчас не смогу.

— Как? — после едва уловимой паузы, мгновенно совладав с собой, спрашивает Марина. — Почему?

— Да вот... Нечем. Как только деньги появятся, я вам тут же позвоню, тут же!

— Вы же обещали... — произносит Марина и осекается, сама понимая, что все слова бессмысленны.

— Э-хе-хе... — старик выравнивает кипу листов, укладывает их в принесенную Мариной папку. — Папочку мне обновили, спасибо... Чего теперь стоят наши обещания. Время такое.

— Какое? — спрашивает Марина.

Старик не отвечает. Несколько секунд они молчат. Старiku совестно, он еще старой закалки, не может внаглую. Но это ничего не меняет.

Потом Марина говорит:

— Ну, конечно, я понимаю...

Поворачивается и пытается открыть лестничную дверь. У нее ничего не получается, она нервно, раз за разом все яростнее, дергает засов.

— Нижний, нижний, — почти сварливо говорит старик. Теперь ему хочется поскорее остаться одному; присутствие женщины как укор, а с глаз долой — из сердца вон. — Да не так! — с раздражением выкрикивает он. — Дайте я!

Все открывается очень просто.

Марина выходит на лестницу — лестница тоже совсем иная. В широкие окна валит свет морозного солнца. Дверь с лязгом захлопывается за Мариной, и гулкое эхо просторной лестницы дробит и раскатывает звук. Марина делает шаг, и тут ее ведет в сторону, ноги подламываются. Она останавливается, медленно и глубоко вздыхает несколько раз. Достает из сумочки пластинку с валидольными капсулами, привычным движением выдавливает одну на ладонь и берет ее губами. Медленно начинает спускаться.

Местный центр, но — тоже гололед, снующие туда-сюда люди проскальзываются то и дело. Нескончаемыми рядами, один к одному — изобильные ларьки.

Марина, нутужно продавливаясь сквозь коловращение людей, продвигается вперед. На несколько секунд задерживается у хлебного ларька, не в силах отвести голодных глаз от лежащих по ту сторону запотевшего стекла батонов, маковых рулетов...

Тесная секретарская комнатка: стол, шкафы с папками всех мастей и сортов, допотопная электрическая пишущая машинка «Ятрань» — когда-то достижение советской техники, а теперь громадный нелепый гроб. Жидкие цветочки да кактус на подоконнике, наледь на стекле окна. Масляный обогреватель на полу. Женщина, одетая, словно на зимовку, в накинутах на плечи пальто вынимает из большой железной кружки с носиком кипяtilьник; от кипяtilьника валит пар, и от кружки валит пар. Разливает чай по чашкам, вынимает из коробки чайные пакеты. Марина сидит напротив нее, пальто она тоже не сняла, только растегнула.

— Каждый день сюда мотаюсь... — говорит женщина, готовившая чай. — Но зато вот только нам наши гроши и выплатили, только вспомогательному персоналу... А научникам — ни фига... Ну ты и задрогла, как я погляжу. Пей, пей...

Марина пытается взять чашку за ручку, но у нее слишком дрожат пальцы. Она пытается взять ее обеими руками за бока — но слишком горячо.

— Горячо, — говорит она.

— Как твой? — осторожно спрашивает секретарша.

— Все в порядке, — быстро отвечает Марина.

— Пьет много? — осторожно спрашивает секретарша.

Марина изумленно вскидывает на нее глаза.

— Совсем не пьет.

— Может, он... того? Ты не замечала? Может, он ширяется?

— Да Господь с тобой, Татка!

— Ну, не знаю... Все говорят, что кто из горячих точек вернулся, тот уже не... ну извини, извини. Не гуляет?

— Нет, — решительно говорит Марина.

Подруга внимательно вглядывается ей в лицо.

— Либо ты скрываешь чего-то, либо... это просто чудеса...

— Никаких чудес. Мы любим друг друга, вот и все.

В приоткрытую дверь вдруг заглядывает пожилой человек в шубе:

— Наталья Семеновна, сам — у себя?

— С минуты на минуту ждем! — отвечает подруга сварливо: ей неприятно, что разговор прервали на самом интересном месте. Заглянувший человек замечает Марину.

— Здравствуйте, Марина Николаевна!

— Здравствуйте, Олег Петрович.

— Давненько вас не видно... Наверное, диссертацию заканчиваете наконец? Пора, пора... У вас же только статьи ваши замечательные сложить в кучку — и дело в шляпе! Давайте, Мариночка, покуда я в силе... — с равнодушным добродушием он коротко улыбается и исчезает.

— Значит, опять не выплатили... — говорит Марина. — А когда собираются, не говорят?

Секретарша отрицательно качает головой. За нитяной хвостик, будто утонувшего мышонка, вытягивает из своей чашки чайный пакетик, болтает ложечкой.

— Даже не слышать ничего. А я, знаешь, как была пионеркой чокнутой, так и осталась. Только дали деньги, сразу побежала в «Секонд хэнд» и все спустила! Три часа рылась в шматье, все недорого так... Слушай, я там шарфик выкопала один, под горячую руку схватила, а дома-то как следует повертелась перед зеркалом — все-таки цвет не мой. Не перекупишь?

— Да что ты, Татка, — с улыбкой пожимает плечами Марина. — Какой там шарфик...

— Вот такой, — Татка подскакивает к шкафу с папками, открывает одну из створок и достает шарфик из глубины. Кидает Марине. — Вот глянь, глянь. Ну прямо на тебя.

Марина примеривает, обматывается и так и этак. Татка заботливо держит перед нею небольшое зеркало. Марина никак не может остановиться: хоть попримерять...

— Тут даже ученый совет был на тему денег, но что они могут... пошуршали и отогреться распозлились. Но... — она мнетя. — Знаешь... Тут у нас...

Марина снимает наконец шарф, протягивает Татке.

— Нет, Таткин, — говорит она с сожалением. — Не смогу.

— Жаль... тебе как раз к глазам... — Татка прячет сокровище.

Марина наконец подносит чашку ко рту, пьет.

— Печенюшку хочешь?

Марина улыбается.

— Да... Спасибо, Татка...

Размачивает печенье в горячем чае.

— А еще одну можно?

— Да, конечно, бери!

Марина вынимает из коробки еще одно печенье и прячет в сумку, в небольшой целлофановый пакет.

— Домой? — спрашивает Татка.

Марина смущенно втягивает голову в плечи, взглядывает исподлобья, потом — кивает.

— Так вот, я чего сказать-то хотела... — Татка вдруг заговорщически понижает голос. — У нас же тут несколько человек... голодовку объявили.

— Что?!

— Ну да! Сидели в бывшем партбюро... ночевали там и не жрали ни черта. Уж и милиция их растаскивала, и врачи...

— И что?

— Всех растащили помаленьку... Только... Я почему тебе и рассказываю... Там этот твой, — Татка усмехается едва уловимо, — сокурсник остался. Пока, говорит, не будет всем выплачено за лето хотя бы... Заперся изнутри и сидит как сыч...

— Сухая?! — с ужасом восклицает Марина.

— Чего? А, ну... да не знаю я... С час назад был разговор, что ломать дверь будут, директора ждут и милицейского чина какого-то... «Неотложку»-то видела у входа?

— Видела... только не поняла... думала, просто так стоит.

— Время сейчас такое, что просто так не бывает ничего... — начинает Татка, но Марина потрясенно прерывает ее.

— Ну, вы дикари. Человек там, может, умирает... Ради нас всех умирает!

— Дурью он мается, а не умирает! — сразу принимает боевую стойку Татка.

— В партбюро?

— В бывшем, в бывшем...

Марина вскакивает и выбегает из кабинета; чай едва не выплескивается из поспешно поставленной чашки.

Марина почти бежит по институтскому коридору — длинному, извилистому коридору старого здания, наверное, еще в первые десятилетия советской власти отданного под научное учреждение, да так и оставшегося этим учреждением, покуда выпереть ученых ни у кого не дошли руки. Большие окна, высокие потолки; облупленная пугатурка, треснувшие и склеенные чуть ли не изолентой стекла. Бьются за Марининой спиной, отставая, полы растянутого пальто. Людей нет.

На пяточке перед бывшим партбюро единственное оживленное место в институте; но каково это оживление! Молча, с неподвижным лицом курит врач, глядя в пустоту перед собой. Вытирает тыльной стороной ладони пот со лба милицейский лейтенант в расстегнутой шинели. И два-три сотрудника института компактной кучкой стоят поодаль — им это все уже порядком обрыдло, но в то же время очень хочется досмотреть, чем кончится этот цирк.

— Марина Николаевна! — кидается Марине навстречу долговязый парень. — А вас-то каким ветром?

Другой шикает на него, вовремя схватив за локоть.

Милиционер снова утирает лицо. Шапку он держит в левой руке. Правой пару раз ударяет в дверь.

— Владислав Михайлович! — кричит он, надсаживаясь, будто в горах. — Еще несколько минут — и мы просто выломаем дверь! У нас есть санкция! Сейчас прибудет начальство, и начнем ломать! Не теряйте последний свой шанс!

Тишина. Милиционер выжидательно вытягивает короткую шею — ответа нет.

— Поймите, одно дело — если вы выйдете сами, другое — если вас выволокут насильно! Это же верная психушка с принудительным кормлением! Ответа нет. Милиционер оборачивается к сотрудникам института:

— Топор принесли?

— Не нашли топора, — отвечает пожилой сотрудник, явный институтский завхоз. — Лом вон притащили... в углу стоит...

Марина подходит к двери.

— А это еще кто?... — милиционер заступает ей дорогу, пихает в плечо. Марина едва не падает. Врач, казалось бы, и не смотревший в их сторону, поддерживает ее под локоть.

— Пустите меня, — говорит Марина. — Я попробую его... уговорить.

— Это из ваших, что ли? — оборачивается лейтенант к сотрудникам. Те хитро переглядываются и перешептываются, потом долговязый говорит:

— Да-да, из наших.

Грузный милиционер, совсем неповоротливый в шинели и портупее, неловко уступает Марине место у запертой двери.

— Ну, попробуйте... — с сомнением говорит он.

— Владик! — почти не повышая голоса, говорит Марина, нагнувшись к замочной скважине. — Это я, ты узнаешь голос? Узнаешь? Это я!

Пауза. Милиционер безнадежно мотает головой. Врач прикуривает сигарету от сигареты, все так же пусто глядя перед собой.

— Марина? — доносится голос изнутри.

— Да, Владенька, да! — просияв, кричит Марина. Милиционер с явным облегчением вытирает пот со лба и смотрит на Марину почти благодарно. — Открой мне, пожалуйста. Надо поговорить. А кричать при них при всех мне не хочется, ты же понимаешь!

Пауза.

— Они ввалятся вместе с тобой, — доносится изнутри.

Марина резко оборачивается к стоящим позади нее. Глаза у нее горят, волосы всплескивают от резкого движения; она полна энергии.

— Обещайте, что дадите нам поговорить спокойно. Все равно ваши начальники еще Бог знает где.

— Да ладно, — говорит милиционер после паузы.

— Они обещают! — кричит Марина; у нее срывается голос от волнения.

Долгая пауза. Полная тишина. Потом под тяжелыми неуверенными шагами отчетливо скрипит за дверью паркет.

— Только ты, — говорит голос изнутри. — Все пусть отойдут. Крикни мне, когда отойдут.

И звякает ключ. Милиционер непроизвольно делает шаг вперед; Марина, обернувшись, как орлица над орленком, раскидывает в стороны руки:

— Не смейте! Вы обещали!

Чувствуется, что она готова и к рукопашной.

— Ну-ну, — говорит лейтенант, отворачивается от Марины и отходит за угол коридора. За ним нехотя утягиваются остальные.

— Можно! — громко говорит Марина.

Дверь чуть приоткрывается. Марина входит.

Помещение как помещение. Стол с телефоном, несколько стульев вокруг него, старый — все старое — потертый и продавленный кожаный диван у стены. Стеллажи с папками и полными собраниями сочинений классиков — куда их девать? Так тут и живут.

На продавленном кожаном диване сидит осунувшийся, небритый, закутанный человек. Он не стар; несколько дней назад он, вероятно, был даже довольно молод, не старше Марины.

Некоторое время Марина молча сидит рядом с ним, глядя ему в лицо и не зная, с чего начать.

И тогда начинает он:

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй, Владик, — тихо отвечает Марина. Весь ее напор, всю ее храбрую сталь — смело, будто и не было их. Тихая, робкая мышка.

— Зачем ты здесь?

— А ты? — отвечает она.

Он печально усмехается.

— Пойдем отсюда, а? — просительно говорит Марина. — Ну пойдем... Как можно так с собой... Кому же еще и жить-то, Владик! Кому?

— Ты не уговаривай меня, Марин. Я не уйду.

— Они же тебя все равно выволокут...

— Ну, выволокут... пару ребер поломают... это их проблемы.

— Да нельзя так, Владик, нельзя! — страстно говорит она, схватив его за руки. — Господи, холодные какие... ледяные... Ты же погибнешь!

— Я уже погиб.

— Ну что ты рисуешься! Что за поза... Умный, добрый, красивый...

— Мне все время стыдно, — глухо говорит он, схватившись пятерней за лицо, и речь его от этого звучит теперь немного певнятно. — Как будто это я чего-то не сделал... в чем-то ошибся... как будто это из-за моей лени или глупости кругом бардак. Не упыри эти виноваты... какой с упырей спрос? Я! Понимаешь? Я все время чувствую себя виноватым... Не могу так больше.

— Вот пропадешь, — сердито говорит Марина, а на ресницах ее начинают посверкивать слезы, — тогда действительно будешь виноват. Как Светка-то без тебя останется?

— Светка от меня давно ушла, Марина, — мягко говорит Владислав после едва уловимой заминки, — и Петьку увела совсем, видется не дает... Мы с тобой действительно мало общались в последнее время.

— Господи, — потрясенно говорит Марина, — да что ж ей...

— О, она очень четко сформулировала. Я думала, ты перспективный гений, а ты просто малахольный гений...

Марина нерешительно улыбается сквозь слезы. И он улыбается ей в ответ. И легонько обнимает за плечи.

— Зря ты за меня тогда не вышла, — говорит он. — Может, по-другому бы сложилось. Мы бы дружка дружку поддерживали...

Она молчит. Губы вздрагивают, она силится что-то сказать — и не может, слова вязнут в гортани.

— Нет, — решительно говорит он вдруг, — было бы еще хуже. Как начал бы я от большой любви о тебе заботиться... Из кожи бы вон лез, чтобы пристойную жизнь обеспечить. Ну, и как полагается — икнуть бы не успел, стал бы подонком. Там урвать, тут перехватить, там стерпеть унижение, тут закрыть глаза на мерзость... все в семью, все ради родных и близких... Любовь — самый мощный мотор, но... подчас она — очень подлый мотор. Хорошо, что я один.

Некоторое время сидят неподвижно, почти прижавшись друг к другу, потом он, опомнившись, неловко убирает руку с ее плеча.

— Ладно, — говорит он, посуровев. — Гением не смог стать, мужем и отцом не смог стать... Что осталось? Осталось остаться порядочным человеком. Я никуда не пойду, Марин, а ты иди. Спасибо, что навестила. Иди. Сейчас приедут начальники, и тут такое начнется... Ни к чему тебе.

— Владик, — решившись, твердо говорит Марина, — у меня беда. Большая беда. Сейчас некогда рассказывать, потом. Но, возможно, мне понадобится помощь... и, скорее всего, мне не к кому будет обратиться, кроме тебя.

Он чуть отстраняется и, набычившись, пристально вглядывается ей в лицо, закопав длинный подбородок в складках шарфа.

— Что-нибудь случилось... с мужем? — сразу осипнув, говорит он.

Она встряхивает головой, с трудом удерживаясь, чтобы не зареветь в голос.

— Потом, Владик, потом. Сейчас давай просто уйдем. Понимаешь?.. Ведь ты понимаешь!.. Если тебя рядом не будет, мне никто не поможет!

Через мгновение на губах его снова проступает улыбка. Обреченная.

— Какая же ты хитрая, Маришка, — с невыразимой нежностью говорит он. — Лиса Патрикеевна... Я-то думал, меня ничем не взять.

Молчат. Тикают часы на стене.

— Помнишь, после выпуска собрались в общаге у Кадыра... Русская ты, я — как бы хохол, Акиф из Нахичевани, Кадыр из Чимкента, Ксюшка-буддистка из Улан-Удэ... Так было замечательно, что вот сидим в одной комнате, такие разные и такие родные, — пауза. — А теперь люди стали такие одинаковые... и такие чужие...

— А потом вы мне принесли гитару, и мы все пели Окуджаву, — подхватывает Марина, глотая слезы и моляще заглядывая Владиславу в глаза. — Помнишь? Дольского, Окуджаву... Помнишь, Владик?

Молчат. И вдруг Владислав тихонько затягивает с полустрофы:

— Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь...

Продутая ледяным ветром, залитая режущим, низким зимним солнцем улица. То и дело оскальзываясь на гололеде, Марина и Владислав, которого

она держит под руку — на первый взгляд кажется — просто нежная парочка, но так она его поддерживает, — подходят к парадному.

— Зайдешь? — глухо и надтреснуто, пряча рот в шарф, спрашивает Владислав.

— Нет, Владик... я очень спешу. Я забегу завтра или на днях, узнать, как ты. А сейчас — до свидания. До двери проводить тебя?

Он отрицательно качает головой.

— Беги, если спешишь... У меня же первый этаж.

Оба несколько секунд стоят в нерешительности, не двигаясь, потом он отворачивается и скрывается в темном провале парадной. Марина провожает его взглядом.

Откуда-то издалека надсадно, словно распиливая душу, скрежещет на повороте трамвай. Марина срывается с места.

Суэта коридоров телестудии. Марина растеряннo бредет, поглядывая на номера и таблички на дверях, потом, отчаявшись, спрашивает пробегающего мимо молодого парня:

— Вы не знаете, где Альбина Давыдовна?

— Не знаю... где-то была...

Убегает. Марина идет дальше. Задаёт тот же вопрос степенно идущей ей навстречу женщине с толстой папкой в руке.

— Думаю, в семнадцатой. «Героев» обычно пишут там.

— Героев?

Женщина улыбается.

— Ну, цикл передач так называется... «Герой нашего времени».

Семнадцатая оказывается рядом. Но Марина не успевает открыть дверь; она резко распахивается сама, и изнутри вылетает элегантный, какой-то, очевидно, «не наш» мужчина, а следом за ним — Альбина, пытающаяся его задержать. Марина шарахается от них. Альбина говорит горячо:

— Ну что ты так раскипятился?

— Ты еще спрашиваешь! — отвечает он с несильным, но ощутимым акцентом.

— Представь, спрашиваю.

— Потому что ты, именно ты всякий раз выбрасываешь лучший материал и вставляешь какую-то пошлость. Ты что, специально портишь наши передачи?

— Пошлость... — задумчиво, но как-то с угрозой говорит Альбина.

— Да! Да! И ты это знаешь!

— Так вот что я тебе скажу, Маркус, — ледяным тоном заявляет Альбина; похоже, Маркус задел ее за живое. — Пусть это пошлость, пусть! Но за нее платят. Именно за нее платят! И у вас, когда вы снимаете про себя, тоже платят только за нее. Попробуй не согласиться! Весь мир стал пошлым.

— Свежая мысль, — говорит Маркус; видимо, от волнения его акцент становится сильнее.

— Какая есть. Если хочешь знать, то, что тебя так тянет на русскую псевдоэкзотику, — это тоже пошлость. Что вы о России знаете? Вы, интеллектуалы западные! Вы до сих пор уверены, что в России все сплошь — Достоевские. Ага, как же. Нет здесь Достоевских больше! Распутины есть,

мафия есть, проститутки, банкиры из бывших стукачей, киллеры, дилеры, хакеры, байкеры, рокеры — это сколько угодно. А Достоевские — ку-ку!

— Но ведь этот человек — тоже есть!

— Этот человек из прошлого века, а у нас передача о новых людях России. Новых! Да, пошлых, да, бессовестных — ради Бога! Пусть! Но за ними будущее. И это они платят, они! Сегодня, сейчас платят. И завтра будут платить. А философ этот доморощенный... Он просто умрет с голоду. Я же видела, у него один кусок черствого хлеба в холодильнике, даже чаю нет, кипяток пьет...

— Может быть, эта передача сделала бы ему и его открытиям рекламу, помогла бы выжить!

— Не смейся. Реклама открытий... я умру от смеха. Катя открыла для себя новые прокладки!

— У тебя нет сердца...

— Есть, и абсолютно такое же, как у тебя. Тук-тук, гонит кровь от желудка к мозгам и обратно. Просто вы там, в Европе, не в состоянии слопать все, что ставите себе на стол. В брюхо не влезает. И когда отодвигаете тарелку с обильными объедками, называете это добротой. Протестантская этика!

— Нам... — говорит он, тщательно подбирая слова, — теперь будет трудно работать вместе.

— Ничего, — она ослепительно улыбается. — Сдюжим.

— Что ты сказала? Я не понял.

— Справимся, говорю.

Он заглядывает ей в лицо, потом несколько раз чуть кивает с каким-то сожалением — и уходит. Альбина поворачивается, чтобы вернуться в семнадцатую, но из-за угла коридора выступает Марина:

— Простите, вы не подскажете, как найти Альбину Давыдовну?

— Это я, — недовольно, исподлобья глядя на нее, говорит Альбина.

— Очень приятно. Я — Марина Аракелова, мы с вами созванивались третьего дня, и вы мне назначили...

Альбина задумывается, с трудом припоминая.

— А, так это по поводу дежурств на «Гласе народа»! — наконец припоминает она. Марина несколько раз радостно кивает — раз вспомнили, значит, шансы есть.

— Да-да, я навела кое-какие справки о вас... Хорошо, идемте.

Они обе идут к двери.

— Только вам придется подождать. У меня не закончена запись...

— Конечно.

— Посидите здесь.

Марина присаживается на стул у двери, рядом с двумя парнями, попивающими пиво из жестянок и беседующими вполголоса. Снимает сумку и ставит ее на пол. Альбина уходит, плотно притворив за собою еще одну дверь. Парни вдруг смеются вполголоса.

— А вот еще... — говорит один. — Таксист сажает молодую пару, везет и удивляется: мужик все время к подружке поворачивается и делает вот так: «Э-э!» — свешивает голову набок, по-висельному высовывает язык и издает сдавленный звук. — А девка его — бац сумочкой по балде. Через две минуты все сначала.

Из коридора входит мужчина с какими-то бумагами. Нерешительно поглядывая по сторонам, останавливается у двери.

— Ну, таксист уже кипит от любопытства, — продолжает парень, — и, когда остается с мужиком один на один — тот дамочку выпустил и расплачивается, — спрашивает: «Что это у вас за странный ритуал?» — «Да понимаешь, шеф, — отвечает мужик, — у нее вчера муж повесился, так я ее теперь прикалываю!» Смеются.

Марина опускает лицо.

Из-за двери, за которой скрылась Альбина, выходит пожилая, но всей повадкой своей энергичная телевизионная дама.

— Альбина там? — спрашивает ее вошедший мужчина.

— Да. Подождите. Сейчас очень интересную женщину пишат. Буквально из ничего поднялась... что называется, человек сам себя сделал. А теперь казино открыла, магазины... и благотворительностью занимается...

— Какой благотворительностью? — сразу восторженно спрашивает Марина.

— Вот точно не скажу... не знаю. Но что-то там... для подростков. Тир, мотоциклы, единоборства всякие, силовые тренажеры... Культурный досуг для трудных мальчиков. Ведь надо же помочь им стать полноценными людьми, найти достойное место в жизни...

Уходит. Парни опять смеются чему-то.

Снова распахивается внутренняя дверь. Выходят Альбина и еще какая-то холеная, возраста Марины, дама; Альбина вежливо пропускает ее вперед и кудахчет:

— Чудесная беседа, чудесная! Как вам все это удастся... столько всего успевать, столько пользы, столько радости людям...

Дюжие парни встают, отставляя пивные жестянки прямо на пол, и как-то сразу становится ясно, что это телохранители. Мужчина с бумагами делает движение к Альбине; та властно отстраняет его легким движением руки — потом. Марина и холеная дама встречаются взглядами. Секунду всматриваются друг в друга, потом дама восклицает:

— Маринка!

— Ольга! — Марина встает, и парни одинаковыми настороженными движениями поворачиваются к ней. — Господи, да сколько ж мы не виделись-то! Это ты — «Герой нашего времени»?

— Ну я, — чуть с вызовом говорит Ольга.

— Вот здорово! Поздравляю...

— Знаешь, не с чем, — вдруг красиво скромничает Ольга. — Тружусь, кручусь... Как белка в колесе.

— Ох, я тоже...

— Маринка, я спешу, извини, — обрывает ее дама. Вежливо добавляет: — Но счастливый случай упускать нельзя. Хочется, знаешь, этак по-советски, как встарь... на кухне сесть и почесать языками не о делах, ни о чем вообще, а просто так. У меня сейчас кругом одни деловые... Позвони.

— А у тебя телефон разве тот же? Я звонила когда-то — мне сказали, таких нет...

— Да-да, — Ольга достает из сумочки органайзер, оттуда — визитку и протягивает Марине. — Вот... когда будет время.

— Да я сегодня же позвоню!

Ольга улыбается, но холодно и недоверчиво, и пытливо всматривается Марине в лицо.

— Знаешь, — медленно говорит она, — мне сдается, что ты каким-то чудом и впрямь рада меня видеть.

Марина на мгновение теряется.

— А как же... Да что ты говоришь такое! Конечно, рада, детство же...

— Ненавижу детство, — говорит Ольга. — Жалкий возраст, унижительный... Н-ну, ладно. Жду звонка.

И уходит. Парни — за нею.

Несколько секунд длится пауза, потом Альбина говорит:

— Идемте со мной.

Небольшое — видимо, подвальное или полуподвальное — помещение, заставленное телеаппаратурой, но одновременно напоминающее комнату свиданий самого дурного пошиба: засаленный диван, кустик алоэ на кособокой этажерке, разрезанная пивная жестянка, приспособленная под пепельницу, груда пустых бутылок в углу... на столе — покрытые бурым чайным налетом чашки и заварочный чайник. Рядом с чайником, раскинув поперек столешницы провод с вилкой, валяется кипятильник.

— Оплата сделанная, — говорит Альбина, а Марина нерешительно осматривает электронику, — по приемке видеоматериалов. От удачи, конечно, дело тоже зависит — сколько народу во время вашего дежурства придет да насколько интересно они болтать будут... Но предварительный отбор — это уже дело вашего ума и понимания.

— Только... Альбина Давыдовна, я в этой технике...

— Это все элементарно. Запись идет автоматически, длится по каждому персонажу две минуты, потом отключается. Вы сидите тут и смотрите. Если что-то интересное, полезное... словом, то, что вам хотелось бы потом увидеть по своему телевизору дома, вы оставляете. Если чушь — отматываете пленку назад и следующего пишете поверх. Вот кнопка и вот кнопка, а больше вам и знать ничего не надо. Не знаю, устроит ли вас время... но поймите сами, вы человек для нас новый, почти что с улицы... поэтому покамест придется потерпеть. Зато в смысле персонажей это может оказаться наиболее забавно. С десяти до двенадцати вечера... Что, — увидев, как изменилось лицо Марины, почти злорадно говорит она, — не устраивает?

— Устраивает, — после едва уловимой заминки говорит Марина. — Вполне устраивает. Только... хотелось бы знать, когда...

— Когда первая выплата? — сразу понимает Альбина.

Марина смущенно говорит, почти шепчет:

— Да...

— Материалы мы просматриваем ежедневно. Если набежит какой-то приличный кусок — можете рассчитывать на аванс в конце недели.

— Спасибо... Огромное вам спасибо...

Оператор, сидящий перед монитором и молча слушавший весь разговор с дымящейся сигаретой в зубах, на миг оборачивается с веселой, почти издевательской улыбкой.

— Ну, значит, сегодня в десять мы вас ждем, — говорит Альбина. — Не опаздывайте. Предыдущему наблюдателю тоже домой хочется.

— Нет-нет, — говорит Марина, — ни в коем случае не опоздаю.

Ранний зимний вечер. Солнце уже закатилось, но еще светло, закат полыхает на полнеба. Марина медленно протискивается среди толпы у ларьков, присматривается. Встает в очередь за хлебом; за хлебом — единственный ларек, возле которого очередь. Дует резкий ветер, все мерзнут, кутаются, ежатся, отворачиваются, но в завихрениях между домами дует то слева, то справа — не уберечься. Наконец подходит очередь Марины — она берет какой-то жалкий, самый дешевенький батон и половинку ржаного, а потом долго расплачивается, укладывая бумажку к бумажке: нет крупных купюр. «Ну что вы там копаетесь, дама!» — кричат ей сзади раздраженно. Переходит к следующему ларьку, долго присматривается в нерешительности, потом покупает две сосиски. Когда она говорит продавщице: «Две сосиски», та смотрит на нее, как на сумасшедшую, но — времена сменились, и клиент теперь всегда прав — режет розовую гирлянду. Со вновь раздувшейся сумкой — место толстой папки с машинописью заняли продукты — Марина идет прочь.

Теперь уже темнеет — прошло, пожалуй, немногим меньше часа. Совсем уже без сил, волоча сумку, Марина преодолевает полукилометровую полосу препятствий от трамвая до дома. Вдали светят окнами чудовищные, нелюдские громады жилых домов — поставленные на попа бетонные бараки образца восьмидесятых. По узким тропам, юлящим между кучами и трубами, и еще каким-то торчащим из снега железом — искореженными кровельными листами, проволоками, бесхозными, будто бы обгрызенными по краям бетонными глыбами — торопливо бегут мерзнувшие люди. Поземка. Скользко, особенно на спусках и подъемах. И, конечно, на узких, опасно прогибающихся досках, перекинутых через бесконечные траншеи. Все разворочено так, будто здесь готовились отражать танковые атаки; но противник обошел с флангов, и укрепрайон пришлось оставить без боя. Возможно, навсегда.

На лестнице горит свет. Марина медленно, вяло выходит из кабины лифта; на полу лифта — лужа, кто-то спяну обмочился или схулиганил, веселясь в меру своего представления о веселом. На лестничной площадке от ног Марины остаются мокрые следы.

Марина отпирает дверь. Зажигает в коридоре свет. Только что она, казалось, была на грани обморока; казалось, она войдет и рухнет — но на губах ее уже улыбка, и снова сверкают глаза.

— Ну, вот и я! — бодро говорит она. — Правда, быстро?

Тишина. Только из кухни неразборчиво бубнит репродуктор.

— Как обещала, так и пришла. Маринка слово держит, Маринка Сашеньку не подведет никогда! А знаешь, я сосисочек купила, — она торопливо выгружает из сумки содержимое, — так что сегодня попируем. И вообще, знаешь, нынче день такой удачный! Отдала Моисеичу его рукопись, и он не сегодня-завтра расплатится, причем по высшей ставке, он сам сказал... — а руки ее уже спуют над газовой плитой: газ, вода в кастрюлю, вода в чайник, хлеб в хлебницу, утварь так и мелькает. — Правда, других заказов пока нет... компьютеры... Но, в конце концов, я и объявления-то развесила, только когда ты вернулся, каких-то две недели прошло. А еще повстречала Ольгу Шагунь-

ко... помнишь, я тебе рассказывала, наш бессменный комсомольский секретарь. Потом она инструктором в райкоме стала, и мы как-то потерялись... Она теперь сделалась такая гранд-дама — что ты! Казино открыла, ходит с телохранителями... По телевизору выступает! Позвоню ей попозже, часиков в девять... И, представляешь, халтурку вечернюю нашла. Придется, правда, вечером уйти ненадолго, но ты спи себе спокойно, не волнуйся — меня на машине обратно будут подбрасывать, я договорилась. Ну, вот. Минут через двадцать будем ужинать. Проголодался, наверное? И я! А чайку я с лавандочкой нам заварю, из старых наших крымских еще сувениров, лавандочка для нервов полезна и для сна... Тебе ведь спать надо побольше. Да и вкусно очень, что самое-то главное! И печенье есть к чаю!

Почти бегом исчезает в комнате. Кухня остается без нее. Когда-то любовно отделанная, аккуратная, хоть и небольшая, — но давно, давно...

С судном в руках Марина проходит из комнаты в туалет; слышно, как она выливает там судно, потом спускает воду. Переходит из туалета в ванную, свободной рукой зажигает там свет и ныряет в дверь — все поспешно, все на бегу. С гулом и клекотом начинает течь вода. И на мгновение самообладание изменяет Марине; слышен ее голос буквально на истерике, на слезе:

— Ну что же это такое, господи! Опять горячую отключили!

Полощет судно ледяной водой, потом моет руки — руки сводит. Когда она вытирает их полотенцем, пальцы не гнутся.

Совершенно без сил, она опускается на стул в кухне и, тупо глядя на чайник, который и не думает закипать, закуривает. Снова она — старуха; ведь никто не видит. Щеки обвисают, в погасших глазах — безумная тоска. Медленно шаманит, ворожит перед ее лицом волокнистый дым.

— Ы-ы! — доносится из комнаты.

Марину будто подбрасывает пружиной.

— Что, Сашенька? Что? — она лихорадочно тычет окурком в пепельницу, крошит его свирепо, словно он — символ ее минутной слабости. — Дым? Ну извини... Или что? А-а! — хлопает себя по лбу. — Прости дуру, совсем из башки вон. Мы же утром побриться не успели, я неслась как угорелая... сейчас, сейчас, Маринка бритовку даст...

Она ныряет в комнату, и через минуту оттуда доносится жужжание электробритвы. Струи дыма медленно путешествуют по кухне.

— А самое главное я тебе еще и не сказала. Я нашла твоего Роговцева! Помнишь, ты про него рассказывал — служили вместе? Врач божьей милостью, ты говорил. Так он здесь, в городе! Ведет теперь какой-то реабилитационный психотерапевтический центр, «Новая жизнь» называется. Я к нему завтра пойду! Вы же друзья? Друзья ведь были, да?

Тишина. Только жужжит бритва.

— Ну, вот. Пять минут — и запируем на просторе! Потом я тебе прочитаю... Только сначала Ольге попробую позвонить.

Жужжание замолкает, и через мгновение Марина выбегает на кухню. Начинает нарезать батон тоненькими ломтиками, потом заваривает чай, достает и раскладывает по тарелкам дымящиеся сосиски...

Полуосвещенная компата — та, в которой Марина утром красилась при свече. Сейчас на том столе, где стояло ее зеркало, горит настольная лампа, и

Марина, уютно устроившись с ногами в кресле возле лампы и укрыв ноги пледом, неторопливо читает вслух.

— На что дан свет человеку, которого путь закрыт? Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды... Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость? Поставил меня посмешищем для народа и притчею для него? Вот я кричу: «Обида!» — и никто не слушает; вопию, и нет суда. Почему незаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? О, если бы человек мог иметь состязание с Богом! Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, то кто сведет меня с Ним? Не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься? Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Если я виновен, горе мне! Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне. Прежде нежели отойду — и уже не возвращусь...

Испуганно взглядывает в сторону лежащего. Тот неподвижно смотрит в потолок.

— Ты не волнуйся, — говорит Марина, — там все хорошо кончится. Это просто испытание ему такое было... чтобы любовь ценить научился. Чтобы знал: любовь не за что-то там, не за молитвы и подарки дается, а просто так: либо она есть, либо нет... Понимаешь?

— Ё-ы!

Презентация, одна из многих, такая же, как все. Роскошный зал, роскошный стол. Поодаль от стола — человек двадцать приглашенных. На сцене бренчат и завывают.

— Вы рассаживайтесь, а я сейчас, — говорит Ольга красавцу средних лет с благородной проседью в черных волосах. — Пойду гляну...

— Мороз-воевода дозором обходит владенья свои, — понимающе говорит красавец. Она усмехается, кивает — и уходит от группы приглашенных, которые и впрямь сразу начинают двигаться к столу. Неторопливо, но собранно и надменно она бороздит подвластный мир. В соседнем зале — казино, где идет бурная вечерняя жизнь, Ольга проходит между столами; надо видеть ее лицо, ее улыбку, ее довольство, когда она хозяйски оглядывается кругом. Обслуга узнает ее и раскланивается; она отвечает на холуйские поклоны легкими движениями гордой головы.

Марина домывает посуду. Сквозь шум воды из комнаты доносятся вопли и костяной перестук хоккейного матча — работает телевизор, и его холодный голубой отсвет освещает темный проем ведущей в комнату двери. Насухо вытерев заочневшие руки, Марина звонит, и в трубке слышно:

— Здравствуйте. С вами говорит автоответчик. Мы будем крайне вам признательны, если вы оставите свое сообщение после длинного сигнала.

Марина молча кладет трубку. У нее опять, как почти всегда, когда ее никто не видит, мертвое лицо и мертвые глаза.

— В пятый раз... — вертит визитку в руках и вдруг хлопает себя по лбу: — Да тут же еще сотовый указан!

Начинает снова набирать, поглядывая в визитку, новый номер, но, будто повинувшись какому-то наитию, прерывается и прикрывает сначала дверь в комнату.

Красавец стоит с бокалом шампанского в руке. Сидящие за столом хохочут. Красавец, тоже сверкая улыбкой, поднимает свободную от бокала руку, утихомиривая собравшихся:

— Я еще не кончил!

Все опять хохочут. Все уже изрядно навеселе. Кто-то жует, будто с голодного острова приехал. Кто-то под шумок сваливает с тарелочек всевозможную снедь в полиэтиленовые мешочки, упрятанные на коленях.

— Долго не кончать — это достоинство мужа, а не оратора! — кричит кто-то из соседей.

Общий хохот.

— Ольга Альбертовна, — упрямо говорит красавец, — всегда была героиней нашего времени. Какое бы время ни стояло на дворе — она всегда была его героиней! Вот что я хочу подчеркнуть, господа! И она... и такие, как она... и впредь всегда будут героями всех времен и народов... что бы ни случилось с этой страной, в какие бы очередные тартарары она ни свалилась! Вот за что я хочу поднять этот бокал! Собственно, я его уже поднял...

Общий хохот.

— И, надеюсь, меня поддержат все, здесь собравшиеся, потому что мы все здесь — точно такие же нормальные герои!

— В нашей стране быть героем — святая обязанность! — кричит какой-то эрудит с противоположного края стола.

Общий хохот.

— В жизни всегда есть место подвигу! — визгливо, давясь смехом, вторит ему какая-то упакованная в драгоценности дама.

Общий хохот.

— Что-о? — картинно возмущается красавец. — Соперничать со мною в культурном уровне? Да я вас... да я вам... Багрицкого прочитаю!

Общий хохот.

— Советский поэт Багрицкий! — как конферансье, возглашает красавец и прихлебывает из своего бокала. И немедленно кто-то откликается:

— Багрицкий поэт Советский!

Хохот.

— Прошу не перебивать! Итак! Слова советского поэта Багрицкого! Мысли — народные!

Общий хохот. Завывая с утрированной грозностью, красавец читает:

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглисьнешь — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги» — солги.
Но если он скажет: «Убей» — убей.

Общий хохот.

— Убе-е-ей!! — орет кто-то из особенно налегавших на спиртное. — Это круто!

— Я хочу выпить за этот век! — надсаживаясь, перекрикивая шум, возглашает красавец. — И за его героев! И особенно — за его очаровательных героинь! — он протягивает свой бокал навстречу поднятому с готовностью бокалу Ольги. Они чокаются.

— Спасибо! Спасибо, мои дорогие... — говорит Ольга.

Сзади к ней подходит кто-то из «шестерок» во фраке и подает мобильный телефон.

— Ольга Альбертовна, вас, — извиняющимся голосом говорит он. — Какая-то Марина... сказала, что вы договаривались созвониться...

Чувствуется, что Ольга вспоминает не сразу. Но, к ее чести, все-таки она профессионал-организатор, этого у нее не отнимешь — очень быстро. Берет трубку.

— Да, Мариночка, это я. Что? Прости, дорогуша, здесь шумновато... Работа такая, — и подмигивает сидящему рядом красавцу. Тот понимающе хихикает. — Сейчас не очень удобно... Мы обязательно повстречаемся в днях... Что? Не слышу... Ах, ну, как всегда... Прости, дорогуша, сорвалось. Знаешь, стоит добиться хоть какого-то успеха, сразу столько откуда-то выныривает бедных родственников... Нет-нет, к тебе это не относится! Разумеется, надо подумать... Сейчас... Марина, ну опомнись, ну зачем мне тут переводы с языков... Нет, машинописных работ у нас нету... Какие нынче машинописные работы, смешно. Вот что... у нас уборщица заболела. Ты можешь пока поработать вместо нее, а потом, если все будет нормально... может, еще что-то подберем. Ну, думай! Да? Вот и отлично. Мы открыты всю ночь, до пяти утра, значит, нужно прийти хотя бы в шесть, чтобы успеть навести порядок... Просто я это к чему — чтобы в шесть утра ты была как штык. У нас дисциплина. Не так, знаешь ли, как в ваших научных сферах, здесь люди действительно работают... Готова с завтрашнего дня? Замечательно. Я предупрежу охрану... они тебе покажут, так сказать, фронт работ. Целую!

Отдает трубку. Красавец доверительно наклоняется к Ольге:

— Кто это?

Ольга улыбается. Но ответить на эту улыбку улыбкой мало кто захотел бы. Не та улыбка.

— Так... Школьная подруга. И потом еще общались некоторое время, когда я в райкоме наукой ведала... Уж такая всегда была правильная, такая талантливая... Доктор теперь, что ли... или еще кандидат. Сортиры у нас будет мыть, — веско и отчего-то мстительно заканчивает она и вдруг смеется: — Сортиры!

Сейчас Ольга просто счастлива. По-настоящему счастлива.

Марина сидит на кухне и курит. Глаза почти закрыты. Пальцы дрожат, и дымящаяся сигарета время от времени тычется то в верхнюю, то в нижнюю губу.

Марина снова одевается.

— Ну вот, у меня еще одна победа, — радостно говорит она. — Нам везет, Сашка, везет! Я же везучая! — шутливо трижды плюет через левое плечо. —

Так бы и дальше! Правда, вставать теперь придется ни свет ни заря... ну, и ничего. Во сне выздоравливать хорошо, вот как тебе, например... А когда человек здоров, сон только жизнь укорачивает. Лежишь, бревно бревном, и ничего не чувствуешь... А сейчас я ухожу и буду к часу. Ты спи тут... И не волнуйся. Главное — не волнуйся. Сейчас заработаю, утром заработаю, потом консультацию у Роговцева тебе устроим... Так помаленьку я тебя и вылечу. Все, милый, целую и бегу. Пописать не хочешь на дорожку? Нет?

Пауза. Тишина.

— Ну, суднышко я поставила... если что. Телевизор пока оставлю, чтоб тебе не скучно было, а скоро все равно электричество отрубят. Бегу!

Она гасит свет в коридоре. Потом открывается лестничная дверь, оттуда вываливает сноп желтого света и тут же вновь съезживается и гаснет, отрубленный звонко хлопнувшей дверью.

В синеватом, мертвом — как в море — свете работающего телевизора видно запрокинутое на подушках лицо мужчины; когда-то, вероятно, хорошее, открытое, мужественное лицо, но теперь осунувшееся, поблекшее, плохо пробритое из-за ранних морщин. Мужчина беззвучно, бессильно плачет.

И вновь Марина проделывает путь по ледяным надолбам и мосткам. Уже почти безлюдно, только где-то вдаль, едва видные в свете дальних окон, бредут, нагибаясь против ветра, одна-две одинокие фигуры. На одной из покатоствей Марина все-таки оскальчивается и падает; сумочка вырывается у нее из рук. Марина поднимается, кое-как отряхивает с пальто грязный, пополам с песком и глиной, снег. Метет поземка. И тут разом, как в кошмаре, гаснут все окна лежащих окрест жилых громад. Едва видимая в сгустившейся темноте, Марина идет дальше.

Пустая комната, полуосвещенная резким светом настольной лампы, стоящей поодаль от мертво мерцающего монитора; Марина уже одна; пальто накинуто на плечи. Молча, неподвижно и отключенно она сидит перед монитором и пристально, не мигая, всматривается в работающий вхолостую экран. Курит.

Внезапно монитор оживает, и Марина заметно вздрагивает, словно просыпаясь, словно она, оказывается, спала с открытыми глазами. На экране лицо старика.

— Ничего нового я вам не скажу, — дребезжащим немощным фальцетом произносит он. — Мне и самому-то все слова надоели... Да. Никогда в жизни я не жаловался. Стыдно было жаловаться... не по-нашенски... Потому что все муки мы принимали — ради чего-то! Понимаете? А теперь — ни для чего. Ни для чего, — он вдруг закашливается; долго, надсадно перхает, прикрываясь коричневой морщинистой ладонью, на которой не хватает двух пальцев. В уголках его выпуклых глаз проступают слезы. — Да. Никогда не жаловался. Работал, воевал, снова работал... Строил, строил для Родины... — его лицо передергивается от отвращения. — И было... было же чувство, что, если вовсе уж припечет, если сволочь какая-нибудь вовсе уж распоясается — есть кому пожаловаться. Сталину письмо написать или Ворошилову... Да. И вы мне не говорите, — вдруг надорванно выкрикивает он, — что они были людоеды какие! Ну, людоеды! На то и государство! Оно требует, оно и дает. Коли оно

тебя не съест, ты за ним как за каменной стеной! А теперь каждый каждого съесть норовит, каждый сам по себе, что сегодня надыбал — то на сегодня и твое, а потом хоть трава не расти... и государства — нету. И будущего нету. Только сами там для себя в Кремле своем бубнят, бубнят кто чего не попадая... в Думе в этой бу-бу-бу... — молчит, вытирая уголки глаз суставом указательного пальца, потом глядит в камеру с какой-то запретельной укоризной. — Вы, журналисты, меня уж, конечно, в эти... в руссофашисты запишете. В красно-коричневые какие-нибудь. Будьте прокляты.

Время его еще не истекло, но он встает, отворачивается — Марине становится видна истертая едва не до сквозного свечения спина его двадцатилетней давности зимнего пальто — и отходит от камеры, надсадно кашляя. И монитор отключается, снова бегут по нему бестолковые суматошные полосы.

Марина вспоминает про дымящуюся в пальцах сигарету. Страхивает в пивную жестянку длинный хвостик пепла, затягивается и гасит сигарету. Кипятит чай в большой кружке. Когда она пытается засыпать в кипяток заварку, половина просыпается мимо. Марина аккуратно сгребает сухие чайники в ладонь, страхивает их в дымящуюся кружку.

Потом, в ожидании, рассеянно перебирает неаккуратной стопкой лежащие на столе журналы. Они тут для всех. Кто что принес — неизвестно. Общественное достояние. «Плейбой» на русском и английском, «Космополитэн»... Марина наугад листает один — какие-то сногшибательные моды, лощеные мужчины и женщины с бокалами чего-то алкогольно импортного в холеных, оперстненных руках, рекламы автомобилей, яхт...

Монитор оживает. Женщина лет сорока. Долго, долго смотрит в камеру, не зная, что и как сказать, лицо ее судорожно подергивается. Поправляет шарф нервно, потом вдруг снимает шапку, неловко комкает ее. Шапка и плечи пальто припорошены снегом. Идет драгоценное время. И вдруг женщину прорывает наконец.

— Господи!.. Растись, растись сыночка, ночей не спишь, — голос клокочет от едва сдерживаемых слез, — ведь ни одна же сволочь не поможет, ни одна. В поликлинику сходить, врача вызвать — и то с работы отпрашиваться каждый раз... унижаться, унижаться, клянчить, умолять... а везде рожи, рожи!! Если у вас такое трудное семейное положение, вам следовало повременить с ребенком... — злобно передразнивает она кого-то. — А как вырастишь — оказывается, и ты им должен, и ребенок твой им тоже должен! Иди-ка, мальчик, сюда, мы тебя на смерть кинем! И хоть бы война, — она даже в грудь себя ударила рукой, в которой скомкана шапка, — хоть бы впрямь напал на нас кто — сама послала бы, перекрестила и послала, правда! Нет! Куда там! Они наверху у себя все делят чего-то, который год поделить никак не могут... а детей убивают! А потом их как шилом в жопы их толстые кольнут — и начинают извиняться перед убийцами; ах, ошибочка вышла, мы хорошие, не оккупанты мы! Мы вам к завтраму еще два завода бесплатно построим, только вы уж убивайте нас поменьше, пока мы вам их строим... И стоят, жопастые, как ни в чем не бывало, ручки друг дружке пожимают...

Изображение отключается. Марина некоторое время сидит неподвижно. Потом, как слепая, почти на ощупь, выбирается из операторского кресла, идет к столу, на котором остывает ее чай. Пьет.

Монитор оживает, и Марина с кружкой в руке бросает к креслу. Она так ничего пока и не решается стирать. Все записывается подряд.

Интеллигентного вида человек лет сорока или чуть старше. Прямо смотрит в объектив. То ли он немного пьян, то ли просто взвинчен до предела.

— Думаю, все это видят, не я один. Но как-то стыдятся всерьез признать... взглянуть правде в глаза. Вся шваль, все подонки, все ублюдки неопишущие поперли в гору. Все они выиграли... Воре, мафия, кстати, наполовину состоящая из бывших партийных бонз, — все они процветают, понимаете? Это их время. Причем заметьте... чем безнравственнее человек, чем подлее — тем больше ему удачи. Он свой, а время чувствует, кто для него свой, — и помогает своим. А кто с совестью... тот — аутсайдер, тот — обречен.

Задумывается, глядя куда-то ниже экрана, потом улыбается горько.

— А главное — пошлость. Во всем, везде... И пошлость-то какая-то необъяснимая, сатанинская... Тотальная. Будто одурели все в одночасье. Будто не было у них великой культуры. Будто не с чем сравнивать, опять все с нуля... Пошлость — это же не только искусство, это мировоззрение, это стиль жизни...

Человек на экране поднимает глаза. Может, снова думает о чем-то. Затем, словно спохватившись, продолжает:

— Нет, нет, я не хочу сказать, что старое зло было лучше. Ведь я боролся с ним... как многие из моего поколения. Но вот тут-то и загадка. Старое зло победили, а на его месте тут же новое выросло, да еще какое! Вот поэтому я и говорю, что само время подлое, предательское — оно обмануло людей в самом святом, в самых сокровенных ожиданиях. Помните, в Апокалипсисе — дух подмены есть дух Антихриста. Но только причина, — он понижает голос, — может быть, в нас самих? Это как пластинка с царапиной, она вращается и с каждым оборотом повторяет свой скрип. И вроде музыка прекрасная записана на ней — а не послушать. Может, и в нашей душе, в генных каких-то глубинах, сидит эта царапина... Бог весть, кто ее поставил и когда — а всю музыку испортил...

Время истекло, и камера отключается. Марина закуривает неверными движениями, потом встает; начинает медленно, потом все быстрее ходить из угла в угол тесной комнаты. В свете лампы отчетливо видны волокнистые потоки дыма, вихрящиеся вслед за нею в темном воздухе.

Лютая пустыня улиц ночного города. Изредка горят тусклые фонари — все-таки это не окраина, центр. Безлюдье. Ветер едва не валит с ног. Почти бегом, то и дело оскальзываясь, Марина спешит к остановке. Заворачивает за угол — и шарахается: она вылетела прямо на двух пьяных. Один едва стоит, упершись обеими руками в стену и громко икая, другой еще что-то соображает, пытается его поддержать, бормочет что-то громко и невнятно:

— Ну, Колян, ну... Ну совсем уже, что ли? — замечает Марину. — О! Колян, бабу хочешь? Баба пришла! Иди сюда, штучка! А ну иди, кому сказал!

Марина бежит на другую сторону улицы. Мужик пытается ее преследовать, но падает и долго ворочается посреди прометенной поземкой пустынной, мертвой мостовой, что-то угрожающе бормоча.

Стараясь двигаться совершенно беззвучно, не звякнуть ключом, не шаркнуть ногой, Марина, одной рукой держа для подсвета зажигалку с трепещущим язычком синеватого умирающего пламени, открывает дверь квартиры. Входит. С бесконечной осторожностью раздевается, стаскивает окоченевшими руками сапоги.

— Ы! — зовуще раздается из темного дверного проема.

Марина, словно ее кинула невидимая катапульта, бросается туда — зажигалка едва не гаснет. Видно, как Марина падает на колени возле постели, обнимает лежащего.

— Ты почему не спишь, Сашенька? Ты почему не спишь? Сон — лучший доктор... Ты что, за меня волновался? — в горле у нее клокочет, но даже в сумраке чувствуется по голосу, что она улыбается. — Глупый, глупый, ну какой глупый! Ничего со мной не может случиться плохого. Я же у тебя храбрая, я у тебя шустрая! Я все смогу, Сашенька, все-все, — и целует его, целует. — Я тебя вылечу. Вот увидишь. Мы опять поедem на озеро... Вот увидишь... — почти всхлипывает она, улыбаясь. Заклинает. Себя? Судьбу?

Со скрежетом катит по рельсам битком набитый трамвай. В свете редких тусклых ламп вагона — лица людей, которым не для кого притворяться сейчас, и вся усталость душ как на ладони. Мелькают за обледелыми стеклами заборы и корпуса заводов промышленной зоны. Остановка. Разъезжаются, судорожно дергаясь, перепончатые двери. Никто не входит, никто не выходит. Снаружи, у каких-то ворот, под фонарем — неподвижная, молчаливая толпа. Все молчат, и только пар от множественного дыхания курится над серыми, съезженными, сгорбленными фигурами. Марина едет с закрытыми глазами. Ей не хочется ничего видеть. Грохоча, захлопываются двери, и трамвай, надсадно завывая, трогается. Истошно визжат по рельсам колеса.

Марина останавливается у темного входа. Секунду смотрит на роскошную, запертую сейчас дверь, озирается на уличную пустыню слева, потом на уличную пустыню справа. Нащупывает звонок на стене возле двери, звонит. Ничего не происходит. Она звонит снова. Щелкает переговорное устройство, и заспанный мужской голос произносит:

— Кого там?

Марина несколько секунд молчит, губы ее чуть шевелятся, словно она примеривает слова ответа — и не находит нужных. Черный ночной ветер топорщит воротник ее пальто. Потом Марина говорит:

— Уборщица.

Дверь щелкает. Переговорное устройство говорит:

— Заходи, киса...

Презентация вчера, по всей видимости, удалась на славу. Сверкающий туалет, и по размерам, и по антуражу напоминающий дворец, заблеван и загажен. Марина в рабочем халате поверх ее обычной одежды, со шваброй в одной руке и ведром, через край которого свешивается тряпка, — в другой, стоит и оглядывает эту роскошь. Рядом с ней — дюжий парень в соответствующем его работе стандартном костюме современного вышибалы, из кармана пиджака торчит антенна телефона. Он хлопает Марину по плечу, весело скалится:

— Ну, приступай. Я на пост. А захочешь после душ принять — подходи... — и добавляет со значением: — Я провожу.

Уходит.

Некоторое время Марина продолжает озираться, потом прикрывает глаза. Несколько раз делает глотательные движения — ее мутит. Потом решительно встряхивает головой и принимается за работу.

Она уже покончила с полом и перешла к писсуарам, когда откуда-то издалека раздается шум, несколько вскриков, отдаленный щелчок, похожий на одиночный выстрел. Марина секунду прислушивается, потом, выронив швабру, бросается к двери из туалета. Пробегает через холл с зеркалами, раковинами и электрополотенцами, через две ступеньки поднимается по короткой лестнице, осторожно высовывается из-за тяжелой темной портьеры, прикрывающей спуск к туалетам.

Зал, где вчера царило веселье. Несколько человек в масках, с короткими дубинками в руках деловито и профессионально, в полном молчании, крушат все, что только можно сокрушить.

Охранник, каких-то полчаса назад приглашавший Марину в душ, лежит возле входной двери — то ли оглушен, то ли мертв. Не помня себя, Марина падает за портьерой, сжимается клубочком — а из зала, уже невидимого ей, продолжают доноситься хруст, звон, грохот, быстрые шаги по битому стеклу... Потом голос:

— Шабаш, линияем!

Коротко топчут несколько пар ног, и слышно, как взывает, резко стартуя с места, автомобиль возле сокрушенного входа. Потом — тишина.

Марина медленно встает. На деревянных ногах подходит к лежащему. Наклоняется, протягивает руку, отдергивает, протягивает снова. Ей жутко. Трогает пульс охранника. Потом вскакивает, начинает метаться — в поисках телефона. Находит его в вестибюле перед залом, набирает номер, а сама глаз не может оторвать от большого листа, прилепленного скотчем к исковерканной внутренней двери, на котором нарочито коряво, как бы по-детски, написано: «Прежде чем шампузу дуть — надо ПАПЕ отстегнуть! Привет от ПАПЫ!» И зачем-то — шутки ради, вероятно, — пририсовано сердечко, пронзенное стрелой.

— Милиция? — едва проталкивая слова сквозь гортань, произносит Марина. — Это милиция? Нападение... вооруженное нападение! Адрес? Сейчас... — она лихорадочно ищет визитку, полученную вчера от Ольги. — Сейчас... сейчас... Тут человек... еще живой!

И снова скрежещет трамвай. Изморозь и наледь на окнах напитаны светом, но только в проталины видно то, что снаружи — отдельные фрагменты улиц, машин, лиц. Тягомотный калейдоскоп. Стоящий рядом с Мариной высокий старик с трясущейся головой вдруг наклоняется и спрашивает Марину:

— Вы не находите, что люди просто устали жить? То есть вообще. Человек устал жить...

Он требовательно смотрит на Марину, ожидая ответа.

— Да-да... Может быть... — отвечает Марина с отсутствующим, уже совершенно не от мира сего лицом. Похоже, она не очень-то понимает, о чем ее спрашивают.

Марина звонит в дверь. Ей долго не открывают, но она не повторяет звонка — просто прислушивается, стоит смирно. Наконец внутри начинается

долго звякать отпираемый неловкой рукой замок, дверь открывается — и перед Мариной оказывается старая женщина с добрым лицом. Секунду она подслеповато всматривается Марине в лицо, потом расплывается в улыбке:

— Мариночка! Мариночка, родная вы наша! Да проходите скорей, вы же замерзли совсем... В таком пальтишке на ветру на этом... Проходите, проходите...

Марина, улыбаясь в ответ, входит в коридор квартиры. Женщина, отступив на шаг в сторону, пропускает ее — чувствуется, что она ходит едва-едва, что-то серьезное с ногами. Но радость ее неподдельна.

— Век буду Бога молить за вас, Мариночка! Владик, — повысив голос, кричит женщина, — Владик, кто к нам пришел!

— Как он? — спрашивает Марина, расстегивая пальто.

— Хорошо, Мариночка, хорошо. Как приехал, госпитализировать хотели, но вы же знаете его, уж такой упрямец, такой упрямец... отказался наотрез. Сидит, читает что-то... Живой, живой! — слезы наворачиваются у нее на глаза.

— А я проведать вас зашла, — говорит Марина с улыбкой и вынимает из сумки одинокое зеленое яблоко — все, что она смогла себе позволить. — Я узнавала, на второй день немножко фруктов уже можно.

— Чаю сейчас поставлю, — отвечает женщина. — Только вы не стесняйтесь, чаю у нас много! Мариночка... — она вдруг порывисто берет руку Марины и, прежде чем та успевает понять, что происходит, неловко целует ей ладонь.

— Ну что вы, Оксана Петровна, что вы... — бормочет Марина, пятясь.

— Век за вас буду Бога молить, спасительница вы наша... Век... Владик, сынок, — кричит она, — Мариночка пришла!

Владислав и Марина сидят друг напротив друга на кухне, там теплее. Горит духовка — спасительное эрзац-отопление городских квартир, и крышка ее открыта настежь, поэтому по тесной кухне перемещаться мимо газовой плиты приходится с осторожностью. Мама Владислава — счастливая улыбка так и не сходит с ее лица, — по-утиному переваливаясь, ставит посреди стола блюдо с парой бутербродов и, потрепав сына по голове, а потом, проходя мимо, легонечко проведя ладонью по плечу Марины, уходит из кухни.

— Ой, Владик, прости, — вдруг будто вспоминает о чем-то Марина. — Можно, я позвоню коротенько?

— Конечно, звони, — он говорит тихо и глухо и сидит, сторбившись. Он еще очень слаб.

Марина набирает какой-то номер. Никто не отвечает. Со вздохом она вешает трубку. Некоторое время они молчат.

— Владик, — тихо спрашивает Марина, — все-таки зачем ты?..

Она не договаривает — но он понимает ее с полуслова. Чуть медлит с ответом.

— Надоело унижаться. Не могу больше... Все время, все время... Осточертело.

— Но ведь... Владик, не только это...

— А помнишь, — вдруг говорит он, — как мы начали заниматься синдромом длительного унижения? И коммуняки нам тут же по рукам: а ну, кыш! Идеологически вредная тема!

— Помню... — тихонько говорит она.

— Меня потом полгода в комитет таскали: кто вас надоумил? Как вам это в голову пришло? Кто особенно активно работал с вами над этой надуманной, высосанной из пальца проблемой? И вот смотри: коммуняк как бы и нет давно, а длительное унижение... никуда не девалось. С нами навсегда...

Пауза.

— Ты не говорил...

— Еще бы.

— А меня почему-то не таскали...

— У-у! Я тебя так отмазывал... Только язык мелькал, — усмехается. — Знаешь, первый раз в жизни врал с удовольствием.

Пауза.

— И не рассказывал мне ничего... — говорит Марина.

Пауза.

— Вот потому и кажется, что в мире царит зло, — говорит Марина. — Оно бьет в глаза, а добро незаметно... даже когда есть что рассказать — не рассказывают, стесняются... Почему ты мне сразу не рассказал?

— Добро — это как воздух. Дышишь и не замечаешь... естественное дело. А вот когда воздух откачивают, сразу становится понятно, что чего-то не хватает, — чуть медлит. — Я задыхаюсь, Мариш, и ничего не могу с этим поделать.

Мама Владислава сидит на диване в комнате — скромной, нормальной комнате не вкусившего ни Сталинских премий, ни иностранных грантов ученого, в которую почти ничего и не помещается, кроме книг. С кухни слышится неразборчивое журчание разговора. Почти монолога. Мама медленно перебирает какие-то старые фотографии. Вот Марина и Владислав, совсем молодые, в компании сокурсников — все смеются, кто-то поставил кому-то рожки. Вот та же компания на набережной какой-то реки. А вот Марина и Владислав вдвоем; молодые-молодые — и даже как будто бы счастливые...

Мама натужно, немощно встает и ковыляет к шкафу. Достает маленький стаканчик и склянку валокордина. Капает себе — долго капает — капель сорок. Разбавляет водой из графина и выпивает. Потом возвращается к дивану, вытирает глаза носовым платком и смотрит фотографии дальше.

— Культура, — говорит Владислав, — это совокупность ненасильственных методик переплавки естественных, то есть животных, желаний и ощущений в так называемые человеческие, то есть по отношению к простому выживанию как бы лишние. Умирание культуры — это ситуация, при которой такая переплавка начинает давать сбои. Сейчас модно стало, — он отщипывает гомеопатический кусочек яблока, — модно стало... — жует. — Вкусное-то какое! Маринка, как ты выбирать умеешь... Я вот всегда принесу что-нибудь чуть сочнее ваты... Модно стало пудрить людям мозги тем, что не нужна нам никакая идея. Дескать, все нормальные страны живут безо всяких идей, и припеваючи живут. А всякая идея, дескать, это национализм. Двойная ложь и двойная подтасовка. Во-первых, без идеи в состоянии жить только те страны, которые плетутся в цивилизационном кильватере. Страны, которые суть становые хребты цивилизаций, без идеи не стоят. Не выдерживают напряже-

ний. А во-вторых, национальная идея — это отнюдь не всегда националистическая идея, а просто-напросто основная ценность... сверхценность... данной культуры. Отними у американцев веру в то, что они самые умные, самые сильные и самые богатые — они развалятся, как Союз развалился без веры в коммунизм. Потому что свое состояние они будут охранять до последней капли крови и до последнего доллара. А наша идея... это не имеющая никакого отношения к национальной принадлежности, абсолютно, так сказать, космополитичная... Формулируется она так: не хлебом единым. Помнишь, был такой фильм с Ив Монтаном: «Жить, чтобы жить». Так вот наша культура вся выросла из того, что мы живем не только для того, чтобы жить, а для некоей более высокой цели. Из этого, конечно, и все наши скачки и выкрутасы... Но, как только цель исчезает, наши методики переплавки животных желаний в человеческие оказываются несостоятельными. Как бы за бортом.

— Ты будешь писать об этом? — тихо спрашивает Марина.

— Зачем? — пожимает плечами Владислав. — Кто это понимает, тот это и так понимает, ничего особливо нового я не говорю... А кому это до лампочки — тому и останется до лампочки.

— Ну нельзя так, Владик... Что ж ты руки-то опустил... на себя не похож, честное слово! Держаться надо!

Он молчит некоторое время. Откусывает еще крошку яблока. Тщательно жует.

— Не для кого, — тихо говорит он и вдруг вскидывает на Марину беззащитные, несчастные глаза.

Марина опускает взгляд.

— Мариш... вчера ты про беду... правду сказала — или... или соврала? Чтоб меня... оттуда выволочь? — он говорит теперь совсем иначе. Куда делись четкие, длинные, выстроенные фразы, куда делся ровный тон. Он выдавливает теперь каждое слово, словно каждое — шаг над пропастью и на каждом — можно упасть.

Теперь Марина долго молчит. Она тоже не знает, что сказать. Потом, напряженно разглаживая клеенку ладонью, произносит:

— Я еще не знаю. Только... Владик. Владик. Владик, — ее будто заклинило, она не в силах перестать произносить его имя. Наконец перелаывает себя. — Я тебе никогда не говорила неправды. Ты ведь знаешь?

— Знаю.

— Вот и вчера не говорила, и никогда не буду. Ты это, пожалуйста, помни... А теперь — мне пора. Я ведь по пути... Зашла узнать, как ты себя чувствуешь.

— Я чувствую себя очень хорошо, — говорит он. — Благодаря тебе.

Она улыбается ему нежно-нежно. И смущенно. И они оба, не сговариваясь, почти хором говорят друг другу:

— Спасибо.

Погода сменилась; сыплет снег, да такой, что в двух шагах не видно ни зги. Вся в снегу, Марина поспешно идет по улице. Мимо, скрежеща, дергаясь, проползает во мгле трамвай с сугробами на крыше и заледенелыми бельмами окон.

Очередная приемная и очередная секретарша — на этот раз в белом халате.

— Вам было назначено? — спрашивает она Марину.

— Нет... — нерешительно отвечает та, — но... мне очень нужно с ним поговорить.

— Вы хотите записаться на прием? Это внизу.

— Нет. Мне просто нужно поговорить.

— Доктор Роговцев сейчас очень занят. У него сеанс.

— Можно подождать?

Секретарша оценивающе смотрит на Марину, потом чуть поджимает губы, говорит с ощутимым презрением:

— Ждите.

Марина аккуратно усаживается на краешек стула в углу. Но через несколько минут не выдерживает:

— Простите, а что за сеанс?

— Психокоррекция, — не поднимая головы, не отрывая глаз от какого-то романа, роняет секретарша.

— А можно... послушать? — через несколько секунд спрашивает она. Секретарша все-таки поднимает глаза.

— Милочка моя, — говорит она, — участие в сеансах денег стоит.

— Я не буду участвовать. И совсем не помешаю... Только пять минут послушаю.

Секретарша снова смотрит на нее испытующе. И снова чуть поджимает губы:

— Можете чуть-чуть приоткрыть вот эту дверь. Только ни звука! И только пять минут.

Ей приходит в голову, что так они могут получить еще одного клиента. Косвенная реклама.

Марина совершенно беззвучно припикает к чуть приоткрытой двери.

— Вы все здесь совсем не потому, — слышится хорошо поставленный, уверенный мужской голос, — что чем-то больны или у вас случилось какое-то трагическое событие. Просто у вас затруднена адаптация. Время изменилось, а вы — нет. И подсознательно вы не хотите меняться. Вам кажется, что хотите, что очень хотите, — но на самом деле, в глубине души, вы цепляетесь за старый образ мира. Пока вы не откажетесь от него окончательно — вас будут преследовать несчастные стечения обстоятельств, фатальное невезение, неумение общаться с людьми... Вы будете выпадать из потока живой, манящей и действительно прекрасной жизни, которая бушует вокруг, но куда вам покамест нет доступа, нет пути. Все зависит только от вас самих. Понятно?

— Да! Понятно! — отвечает нестройный хор мужских и женских голосов.

В щелку Марина видит кабинет, где происходит сеанс. Рослый представительный человек в безупречном костюме стоит к ней спиной, время от времени принимаясь расхаживать взад-вперед перед рядом стульев, на которых сидят несколько человек, и, когда он оборачивается в профиль, становится видным его резкое, сильное, волевое лицо. Военный врач.

Бывший.

— Сейчас мы поиграем в одну игру... Это специальная ролевая методика, так что прошу отнестись к ней серьезно и отвечать с полной искренностью.

Он делает паузу.

— Представьте, что к вам приходит... ну, например, дьявол. И предлагает стать... ну, хотя бы президентом. Или даже... Маяковский, кажется, считал,

что он президент Земного Шара. Вот, президентом Земного Шара. Что вы ответите дьяволу? Ну, вот вы?

Молодая некрасивая девушка в свитере и джинсах.

— Я бы сказала... не уверена, что справлюсь.

— Так, — трагично констатирует Роговцев. — Неверно! Это, пожалуй, самый плохой ответ из возможных! Почему? Кто скажет?

Молчание.

— Вы должны быть в себе уверены! — резко говорит Роговцев. — Что бы ни случилось, вы должны быть в любой момент уверены, что справитесь с ситуацией к своей пользе. Хорошо, это мы с вами подкорректируем на аутотренинге... Вы? — к пожилому, стертому и нескладному мужчине. Старый черный костюм висит на нем мешком.

— Я? — тот совсем теряется. Озирается, как двоечник, ждущий подсказки. — Да ну его... еще убьют. Желающих-то, наверно, много...

— Так. Вы очень трепетно настроены к себе. Разве вам не хотелось бы рискнуть? Здоровый элемент риска украшает и обогащает жизнь! Пожить так, как даже короли не смеют мечтать? Вся планета у ваших ног!

— Да ну ее, планету эту! — уже решительно говорит мужчина. — Толку-то с нее? На кой ляд она мне сдалась? Головная боль одна...

— Так. Понял вашу мысль. Вы? — к женщине, чем-то неуловимо похожей на Марину.

— Я бы с дьяволом ни о чем говорить не стала, — секунду помедлив, решительно отвечает она. — Ни о чем и никогда. И... простите, Анатолий Борисович, это не Маяковский, а Хлебников. И не президентом Земного Шара, а председателем. Тогда у нас президентов еще не насажали ни одного, потому и слово было не в ходу.

— Так... — психотерапевт смотрит на нее, как на пустое место, и даже не утруждает себя оценкой ее ответа. Сразу переходит к следующему пациенту — тощему, всклоченному, прыщавому парню, одетому, впрочем, как требует молодежная мода. — Вы?

Тот задумчиво оттопыривает нижнюю губу.

— Я бы для начала спросил, какой там оклад...

Врач хлопает в ладоши.

— Идеально! Вот по-настоящему конструктивный информационный обмен с миром! Извлечение выгоды из ситуации — это и есть овладение ситуацией! Ведь вы же все хорошие, добрые, честные люди, так? Мы это выяснили еще на первом занятии! Значит, если вы сумеете делать себе хорошо, для всего мира это будет только хорошо! Вы не только имеете право любыми средствами заботиться о себе — вы просто обязаны это делать! А теперь с вами, — вновь поворачивается к женщине, похожей на Марину. — Зачем вы помните, что это Хлебников?

Женщина растерянно пожимает плечами.

— Не знаю... помню, и все.

— Так не бывает. Человек — существо разумное, и бесцельно он не делает ничего. Если помните, значит, вам это для чего-то надо. Давайте, друзья, попробуйте сами понять, для чего это нашей уважаемой Александре Ильиничне. Ну?

— Самоутверждается!

— Сублимируется!

— У нее с этими стихами связан первый школьный роман!

— Покрасоваться хочет! Надо же чем-то привлекать к себе внимание!

Женщина вскакивает.

— Оставьте меня в покое! Я просто помню, и все! Безо всякой пользы! Ни для чего! Для Хлебникова!

— Н-ну ладно, — говорит Роговцев. — Сядьте и успокойтесь. Теперь усложним игру. Разобьемся на пары, на искусителей и искушаемых. Потом они поменяются ролями. Искуситель должен попытаться уговорить искушаемого стать президентом, — он напирает на это слово, — Земного Шара, если искушаемый этого не хочет. И он должен уговорить его не становиться президентом, — он опять подчеркивает слово, — если искушаемый этого хочет. Поняли?

Марина совершенно беззвучно притворяет дверь и уходит обратно в угол. Смотрит в окно. Секретарша невольно поднимает на нее взгляд.

— Удовлетворены?

— Вполне, — говорит Марина, не оборачиваясь к ней. Секретарша поджимает губы и углубляется в чтение.

Идет время. Ветер на улице, видимо, ослабел, нахлобучив на город серые низкие тучи, — и валит снег. Дома напротив едва видны сквозь плотную завесу летящей, рвано хлопочущей белизны. Завывая на разгоне, проплывает под окном переполненный троллейбус с крышей, полной снега. Спешат по тротуарам заснеженные люди. Проглядывает сквозь снегопад сигнал светофора на углу; вот зажигается красный.

— Простите, можно от вас попробовать позвонить? — спрашивает Марина.

Секретарша, не поднимая головы, кивает. Марина набирает какой-то номер. Долго ждет, но, кроме гудков, не отвечает никто.

Участники сеанса выходят из кабинета; последним появляется Роговцев. Секретарша говорит ему:

— Анатолий Борисович, вас тут... дама дожидается.

И поджигает губы. Марина подходит к Роговцеву — тот всматривается в нее, словно что-то припоминая.

На лице Марины появляется несмелая улыбка надежды.

— Вы меня вспоминаете?

— Погодите-ка... Вы...

— Марина Николаевна, жена Саша Аракелова. Мы встречались несколько лет назад, давно. Когда вы с Сашей еще служили в одном полку. Он по инженерной части, вы по медицинской... Помните? Еще так хорошо посидели, когда вас... отправляли... Мы с вами пели на два голоса.

— Да, конечно. Помню, — Роговцев безупречно корректен, но лицо его — лед. — Здравствуйте, Марина Николаевна. Простите, что не узнал сразу. Чем могу?

— Я хотела посоветоваться... — Марина волнуется и опять робеет. — Саня всегда так хорошо отзывался о вас... Врач божьей милостью... это он так говорил.

Роговцев чуть улыбается.

— Сменил скальпель на пассы. Это теперь надежнее... да и выгоднее, что греха таить. Жить-то надо... время такое... О чем вы хотели посоветоваться?

— О Саше.

Роговцев, после едва уловимой заминки, открывает перед Мариной дверь в кабинет, где только что прошел сеанс, делает галантный жест рукой.

— Прошу.

Усаживаются рядом на стулья того ряда, где сидели пациенты.

— Итак.

— Саня... Саня очень плох... — и голос Марины предательски срывается. Она пытается взять себя в руки, несколько раз вздыхает глубоко, вынимая тем временем из сумочки какие-то листы. Протягивает их Роговцеву — они ходуном ходят в ее дрожащей руке. — Его привезли пятнадцать дней назад... ну просто... просто... буквально вывалили мне. Делай что хочешь! — снова мгновенная нотка близкой истерики в голосе; и снова Марина овладевает собой. — Денег никаких... только-только на самые простые лекарства... нам в институте не платят уже несколько месяцев, а Саше полагается пенсия, но она где-то застряла, Бог знает, когда поступит, и поступит ли... Нет, дело даже не в деньгах, я не о том... Простите, — снова несколько раз глубоко вздыхает.

Роговцев читает внимательно, но быстро, профессионально.

— Худо, — сдержанно говорит он и отдает документы Марине. У нее начинают дрожать губы. Она молчит. И Роговцев молчит.

— Вы ведь военный врач... — не выдерживает она.

— Вы спрашиваете совета?

— Я... просто спрашиваю.

— Здесь вам его не поднять.

Глаза у Марины — на пол-лица.

Роговцев медлит и словно чего-то ждет от Марины.

— Так что же... — наконец едва выговаривает она, и голос срывается.

— Существует реабилитационный центр... — медленно говорит Роговцев. — Один-единственный. И, на ваше счастье, совсем неподалеку. Там есть шанс. Крепкий шанс. Примерно пятьдесят на пятьдесят. Но лечение там платное. Это не корысть и не чья-то злая воля. Импортное оборудование, первоклассные лекарства — надо же это покупать, с неба ничего не валится... Там есть шанс.

— Сколько? — на выдохе, уже совсем без голоса спрашивает Марина.

— Не могу сказать вам точно, не знаю. Полагаю, тысяч под десять, не меньше.

— Десять тысяч? — с недоумением переспрашивает Марина.

— Ну, долларов, разумеется, долларов. По курсу.

Долгая пауза.

— А если нет долларов, — безжизненно говорит Марина, — значит, подыхай?

Роговцев чуть разводит руками.

— Не я это придумал, — говорит он. — И потом... простите уж, Марина Николаевна, но все, кому деньги действительно нужны, как-то их находят. Сейчас это не проблема.

— Понятно, — так же безжизненно говорит Марина после паузы. Пытается встать — и не может, ноги не держат. Оседает обратно.

— Воды? — спрашивает Роговцев.

Марина только отрицательно качает головой.

— Простите, — говорит она потом, — сейчас... секунду... Я уйду.

— Я не тороплю вас, — говорит Роговцев. А потом, как бы невзначай, роняет: — Между прочим, вы можете заложить квартиру. Один мой знакомый совсем недавно... буквально на днях... раскрутился именно так.

Марина поднимает голову — снова с надеждой.

— Я помню, у вас отдельная квартира... не Бог весть что, но сейчас метры настолько ценятся, что даже если их немного...

— Я... я никогда с этим... — бормочет она и вдруг почти выкрикивает: — Я не умею!

— Это делается элементарно. Сейчас полно посреднических фирм, там вам за час-полтора все оформят, хоть сегодня. Да вот здесь хотя бы, неподалеку... в двух остановках, кажется. Я все время мимо проезжаю. Называется «Эльдорадо». Вы получите деньги, Александра примут на лечение, а вы за это время, освободившись, подсутитесь как-то... В конце концов, есть благотворительный фонд для ветеранов, я дам вам адрес... Это в Москве. Ну, съездите в Москву, семь верст, что называется, не крюк... три часа поездом. Если вы найдете с ними общий язык, то, вполне возможно, фонд возьмет на себя обязанность вернуть залог или хотя бы часть. А Сашку тем временем поставят на ноги. Марина Николаевна, — сам все больше увлекаясь этой идеей, говорит он с каким-то несколько наигранным воодушевлением, — а ведь это выход! Это шанс, во всяком случае. Крепкий шанс! Действовать надо, Марина Николаевна! Действовать! Не раскисать ни в коем случае!

Марина долго молчит. Роговцев смотрит на нее, потом отворачивается к окну. Валит снег.

Глухо, как бы сам себе, Роговцев говорит:

— Сашка... Вот и Сашка отвоевался. А мне на эту жизнь еще до самой смерти в атаки ходить...

— Где, вы говорите, эта контора? — спрашивает Марина.

Строгий ухоженный офис. Молодой, безупречно одетый чиновник. Все авторитетно и без вычур. Здесь занимаются делом.

— Значит, я повторю вкратце, — говорит чиновник. — Срок — шесть месяцев. Если за это время вы не возвращаете суммы залога... ну, с процентами, я уже называл цифры... квартира переходит в полную и безраздельную собственность фирмы. Но, — он доверительно улыбается Марине, — я думаю, до этого не дойдет. Разве только вы за это время подыщете себе жилье получше. В наше время это, честное слово, не проблема. А то ваша квартирка, прямо сказать... Ну да ладно, — он вновь принимает собранный, целеустремленный вид. — Вот по этим поручениям вам выплатят означенную сумму в нашем банке. Адрес здесь... вот, вот здесь, — показывает пальцем. — Возможно, даже сегодня. Хотя, — он смотрит на часы, — боюсь, Марина Николаевна, сегодня вы туда уже не успеете... конец дня. Ну, завтра утром. Сугки — это же для вас не фатально, не правда ли?

Он — сама вежливость и предупредительность.

— Согласны?

— Да, — говорит Марина. У нее вид сомнамбулы, и, похоже, она уже не вполне понимает, что делает, — просто действует, как заведенная, потому что больше ей ничего не остается.

— Тогда — прошу на подпись, — улыбается молодой человек.

Марина, ничего не читая и вообще почти не глядя, подписывает все бумаги. Молодой человек торжественно встает и пожимает ей руку.

— Позвольте поздравить вас с выгодной сделкой. Вы нашли наилучшее применение для вашей недвижимости. И от лица фирмы примите мою

благодарность за то, что вы воспользовались именно нашими услугами. Всего вам доброго.

У города какой-то праздничный, новогодний вид. Все фонари еще горят, и пылают бесчисленные рекламы, и ряды ларьков сверкают разноцветно, словно елочные гирлянды. Плотный, искрящийся, мохнатый слой снега покрывает тротуары, по нему приятно идти. Чисто. Даже скрипит. Заглядывая в одну из бумаг и озираясь на номера домов, Марина спешит по улице, полной пешеходов, — но все равно опаздывает. Банк уже закрылся. Несколько мгновений Марина стоит у могучих дверей, на которых сияет золотом просторная табличка с названием банка и временем его работы; гладит дверь. Чуть толкает ее. Потом, воровато оглянувшись по сторонам, толкает сильнее. Дверь неколебима. Марина поворачивается и по свежему сверкающему снегу идет прочь.

Марина дома. Она оживлена, весела, голос у нее звонкий и нежный, воркующий, глаза сверкают, и она не ходит, а буквально гарцует, танцует по тесному, но уютному своему жилищу.

— Этот Роговцев оказался совершенно замечательным человеком, — рассказывает она, — ты правду тогда говорил. Врач божьей милостью. Столько мне советов дельных надавал... Очень нам повезло, что я его нашла. Но сейчас — ты, Саш, даже не представляешь, чем он занимается. Психокоррекцией. Что-то совершенно невразумительное... Но, знаешь, я послушала, мне разрешили — что-то в этом есть! Что-то есть! Ой, у меня же яичко, наверно, переварилось! — бежит на кухню. Кричит оттуда: — Сашенька, будешь яичко? И бутерброд с маслом к чаю! Да? Будешь? И я съем с тобой за компанию... — возвращается с нехитрой утварью в руках: на блюде чашка с чаем, в другой руке — тарелка с красующимся на ней одиноким яйцом. — Сейчас я тебе почищу, мы поужинаем — а потом я опять на пост. Там так интересно! А ты спи, пожалуйста. И не переживай, не жди меня... видишь, все же хорошо.

Ставит ужин на столик у изголовья мужа, присаживается рядом — кормить. Но на кухне звонит телефон, и Марину выбрасывает из кресла. И, как всегда, она, хватая трубку, прикрывает в комнату дверь.

— Да? Оля! Господи, как я рада! Ты в порядке? Я все время звоню тебе, но не отвечают ни по сотовому, ни так, я извелась совсем... Это ужас был, ужас! Что? Что?!

— Тварь! Стерва! — пищит в трубке голос Ольги. — Это ты навела? Ты отвлекла охранника?

— Оля... Оля, да побойся Бога!

— Ты за всю жизнь со мной не рассчитаешься! Я тебя в тюрьме сгною! Сука!!

И — отбой.

Наверное, с полминуты Марина держит трубку возле уха. Потом наконец кладет на рычаги. Медленно, привлекая ноги, бредет в ванную. Открывает воду, подставляет под нее ладони и пригоршнями бросает в лицо. Раз, другой, третий... Потом поднимает голову и смотрит на себя в зеркало. По лицу течет. Сейчас Марина похожа на утопленницу — и этой утопленнице лет семьдесят, не меньше.

Танцующей, полной энергии походкой Марина входит в комнату.

— Случайный звонок, — говорит Марина. — Кто-то перепутал номер, да еще и ругаться вздумал. Дескать, как нет таких, когда мне номер дали. Знаешь, как это бывает... Сумасшедший дом.

— Ы!, — соглашается Александр.

— Ну вот, Саш, мне уже и опять пора, — говорит Марина. — Выйду сегодня чуть пораньше, а то вчера еле успела. Так все ездит поганно... а у нас строго!

— Ы! — понимающе говорит Александр.

Марина уносит на кухню посуду со столика у изголовья мужа и уходит одеваться.

На этот раз Марина пришла даже несколько раньше, чем нужно. Оператор предыдущей смены сидит за монитором, покуривая с усмешечкой, и следит, как на экране браво тараторит бородач средних лет в породистой, не снятой с головы шапке и расстегнутом пальто с роскошным воротником. Марина замирает поодаль, чтобы не мешать оператору, и прислушивается.

— ...Нет, я не утверждаю, разумеется, что проблем нет. Есть, есть проблемы. Но просто надо стараться. Не раскисать, не сидеть сложа руки и не ждать, когда начнет падать манна небесная... Работать! И все будет. Вот как у меня. Я плаксам так и говорю теперь: ах, у тебя нет денег? Так иди и заработай! — он говорит очень горячо и убедительно. — Столько возможностей! Столько дела кругом! Просто мы слишком привыкли жить по указке, и никак, черт возьми, никак из нас это не выбить! Делай, что велено, а тебе взамен дадут этакий, знаете, прожиточный минимум. Пайку. Нет, дорогие мои, лагерем была страна, одним громадным лагерем — но лагерь кончился. Теперь не от конвоира человек зависит, и не от начальника охраны, и не от кума, так сказать... Только сам от себя!

Камера отключается, и изображение пропадает — только вновь вхолостую бежит рябь по экрану. Оператор от удовольствия аж причихивает:

— Во дает! Во чешет! Как настоящий, — оборачивается к Марине: — А, это вы... Тут к вам претензии какие-то по поводу вчерашнего...

— Какие претензии? — испуганно спрашивает Марина. Самообладание ее все-таки начинает давать сбой; она уже перешла черту.

— Да шут их знает... Материал не тот. Альбина уж чертыхалась сегодня, чертыхалась...

— У вас не найдется... простите... сигареты? — спрашивает Марина после паузы.

— А? Да, вон на столике, за кружкой.

Марина нервно закуривает чужую сигарету — зажигалка ее тоже уже еле дышит. И в этот момент в помещение входит человек, который только что говорил на экране. Снимает шубу и шапку и остается в жалком костюмчике, совсем не соответствующем снятому первому слою. Отклеивает бороду, трет ладонью кожу усталого, совсем уже не жизнерадостного лица. И надевает валяющееся на диване поношенное пальтишко, заматывает шею шарфом...

— А я вас узнала, — вдруг тихо говорит Марина. — Лет восемь назад видела вас. Вы так играли Федора Иоанновича...

Человек оборачивается к ней, долго всматривается ей в лицо пустым взглядом.

— Лучше бы не узнавали, — глухо говорит он и шагает к двери, но на пороге показывается Альбина.

— Да-да, сейчас, — говорит она кому-то, оставшемуся сзади. — Подождите, вместе поедом. Надо человеку заплатить, старался же...

Входит в комнату и видит Марину. Но подчеркнуто отворачивается и говорит актеру:

— Ну, вот видите, совсем не страшно. И очень быстро, — протягивает ему какую-то бумажку. — По этой ведомости получите гонорар, выплата у нас пятнадцатого...

Актер, скомкав бумажку, поспешно запихивает ее в карман пиджака и, не глядя ни на кого, пряча глаза, стремительно выходит. Альбина провожает его взглядом, потом поворачивается к Марине.

— Теперь с вами, голубушка моя, — говорит она тоном, не предвещающим ничего хорошего. — Что вы нам тут вчера понаписали?

— Что было... — растерянно говорит Марина.

— И больше — ничего?

— Нет...

— Оставлять все это на пленке — ну чем вы думали? Неужели не понятно, что хватит с нас чернухи? Люди устали! Понимаете? Нужны какие-то положительные примеры, положительные эмоции!

Мгновение Марина молчит, потом встряхивает головой.

— Я не знала. Вы же мне не объяснили...

— А у самой-то у вас есть мозги в голове? Или совсем уже не осталось?

Марина сдерживается. У нее нет другого выхода, как сдерживаться, хотя хамство переносить ей тяжело, и это заметно. Альбине это тоже заметно — вероятно, именно поэтому она и говорит, не стесняясь выражений.

— Наверное, те, у кого все хорошо, не идут сюда выговариваться...

— Значит, надо организовывать! У нас рейтинговая передача! Кто станет смотреть на этих рептилий?

— Какие же они рептилии? — все-таки срывается Марина. — Они — живые... и страдают!..

Мгновение Альбина молчит.

— В общем, мне хватило одной пробы. Мы с вами не сработаемся. Вы можете идти домой.

— Вы... Но... Альбина Давыдовна, так же нельзя. Я ехала...

— Никто вас не заставлял.

— И вы мне... не за... — ей трудно, стыдно выговаривать это слово, но выхода нет, — не зап... платите ничего?

Альбина картинно вздыхает брови.

— За что?

— Ну я поняла! — кричит Марина, как раненая. — Я поняла! Я организую! Давайте попробуем еще!

— Нет-нет, голубушка. У меня чутье, мне хватает одной пробы.

— Ради Бога!!!

Альбина секунду молчит, брезгливо глядя на Марину. Потом чеканит:

— У нас не богадельня.

— Мы делом занимаемся, — поддакивает оператор — но с едва уловимой иронией, ёрничая. Видимо, это единственная форма независимости, которую он может себе позволить. Похоже, он местный диссидент.

Марина стоит неподвижно. Альбина поворачивается и уходит. Все ясно, все решено.

— Она — тетка железная, — почти сочувственно говорит оператор. — Ничего ей не докажешь, если решила.

Марина медленно уходит — и, поднимаясь на улицу из полуподвального помещения операторской, успевает заметить, как садится в автомобиль Альбина. Альбина тоже успевает ее заметить. Высокомерно хлопает закрытая с размаху дверца. Автомобиль уезжает, и Марина вновь идет по безлюдной улице одна.

Снова ночной путь по полосе препятствий, заваленной свежим снегом, в котором вечерний народ уже протоптал глубокие узкие прорезы тропинок. Ни души кругом. Снегопад продолжается, но уже не такой, как днем; едва-едва в полном безветрии порхают редкие снежинки. Низкое небо подсвечено дальними огнями центра города — и это единственный свет. На фоне этого призрачного свечения мертвыми противоестественными громадами дыбятся темные дома.

Свеча горит на блюде, стоящем на столике у изголовья постели. Головы Марины и Александра — рядом, на соседних подушках.

— Ну и не пойду туда больше, — негромко, очень убедительно объясняет Марина. — Раз они цикл свой уже отсняли, так и пусть их. Потом, может, что-то другое начнут... Главное, зацепка осталась. Жаль, конечно, но, как ты говоришь, всех денег все равно не заработаешь. А завтра мне спозаранку тоже никуда не нужно. Так что выспимся наконец, выспимся, Сашка!.. Хорошо-то как будет!

Целует его в щеку, потом, приподнявшись на локте, нагибается к свече и задувает ее. Темнота.

Их будит долгий, требовательный звонок в дверь. Ничего не соображая со сна, Марина вскакивает, набрасывает халат. Бежит к дверям. За окном — зимнее позднее утро. Полусвет.

— Кто там? — хрипло спрашивает Марина.

— Марина Николаевна, это вы? — раздается голос молодого чиновника из «Эльдорадо». — Не обессудьте, что мы без звонка, но клиент очень спешит... Это по поводу квартиры.

— Какой квартиры? — ошеломленно спрашивает Марина, пытаясь хоть как-то, хоть пятерней, привести в порядок спутанные и всклокоченные волосы.

— Вашей, вашей квартиры.

Марина, словно под гипнозом, открывает дверь.

Входят явно весьма важный человек — возможно, мы видели его мельком за столом на презентации у Ольги — и безупречно вежливый и предупредительный молодой чиновник. Оставляя следы снега на полу, идут в кухню.

— Добираться сюда не сахар, — говорит, не обращая на Марину ни малейшего внимания, важный человек. — Конечно, у мальчика машина, но все-таки...

— Зато буквально в пяти минутах ходьбы — большой парк, — корректно возражает чиновник. — Есть где подышать свежим воздухом, погулять с друзьями и подругами, заняться спортом...

— Это так, — соглашается важный человек.

Марина не может вымолвить ни слова и только смотрит, как они деловито заглядывают в ванную, в туалет...

— Ремонт минимальный, — говорит чиновник. — Квартира небольшая, но в хорошем состоянии. Здесь, как видите, жила довольно аккуратная семья.

— Как — жила? — задыхаясь, произносит Марина.

— Ну — живет, живет, — досадливо обернувшись к ней, поправляется молодой чиновник. Визитеры проходят в комнату и замечают постель.

— Это что? — спрашивает важный человек.

— Видимо, больной, — хладнокровно отвечает чиновник. Важный человек делает шаг назад.

— Не заразный, надеюсь? — спрашивает он. Чиновник вопросительно смотрит на Марину.

— Вы... Послушайте... По какому праву вы вламываетесь в мой...?

— Мы отнюдь не вламываемся, Марина Николаевна, — пожимает плечами чиновник. — Мы работаем. Право на осмотр квартиры потенциальными покупателями оговорено в договоре, который вы вчера подписали... А время не ждет. Через шесть дней вам все равно придется так или иначе...

— Как — дней?

Чиновник снова пожимает плечами.

— Ну так — дней, — говорит он абсолютно невозмутимо. — Если в течение шести дней вы не внесете обратно сумму залога с полагающимися процентами...

— Вы же сказали — шесть месяцев! — кричит Марина.

— Я сказал — шесть месяцев? — чиновник непробиваем, а важный человек брезгливо кривится, как-то искоса глядя на Марину оценивающим взглядом. — Не понимаю... Я не мог сказать такой глупости. Впрочем, давайте посмотрим договор.

Марина лихорадочно роется в своей сумочке, висящей на вешалке рядом с кителем, украшенным издевательски сверкающими, ничего не значащими медалями и орденами. Достает.

— Вот...

Чиновник листает, находит.

— Ну, конечно, — показывая пальцем, протягивает документ обратно. — Даже если я оговорился... от усталости, знаете, всякое бывает, работы очень много... черным по белому написано — шесть дней.

Марина долго вчитывается в трепещущий в ее нетвердой руке лист бумаги, потом поднимает помертвелое лицо.

— Как же вы можете так? — тихо говорит она.

— Что? — картинно не понимая, спрашивает чиновник.

— Это же...

И она умолкает. Слова бессмысленны.

— Вы ведь читали договор, — с начинающим закипать праведным раздражением говорит чиновник. — Вот ваша подпись!

— Я сегодня же внесу обратно деньги, — говорит Марина, комкая бумажку.

— Это ваше право, — хладнокровно отвечает чиновник.

— А теперь, — кричит Марина не своим, отвратительно визгливым, на грани безумия голосом, — вон отсюда оба!

— Пойдемте, право, — говорит важный человек чиновнику. — Мне совсем не улыбается подцепить от этих какую-нибудь заразу.

Они идут к двери.

— Хозяйка аккуратная, — говорит важный человек чиновнику, — но, по-моему, сумасшедшая... И, знаете, нужно будет продезинфицировать тут все.

Дверь захлопывается.

Александр смотрит на Марину с подушки. Она проводит ладонью по волосам, по щекам.

— Саша... Ты только не волнуйся... — бормочет она, а потом вдруг срывается с места и начинает лихорадочно одеваться. — Я сейчас... сейчас. Это ошибка, это недоразумение... Я приду, и пообедаем, а пока... пока... — она уносится на кухню и уже через секунду бежит обратно в комнату с остатком купленного позавчера батона на блюде, — пока вот, если проголодаешься, булочки покушай... Я скоро, Саша!

— Ы-ы-ы! — доносится из комнаты. Это уже не голос лишенного возможности говорить человека — нет. Протяжный, долгий, жуткий вой смертельно раненного зверя. — Ы-ы-ы-ы!!

Банк. Строгие окошечки касс, дюжие охранники в пятнистом на каждом углу, небольшие, но долгие очереди у каждого окошка. Наконец очередь доходит до Марины. Кассирша смотрит ее платежку, качает головой.

— Это не ко мне. Это в пятое окошко.

— Ну я уже сорок минут отстояла!

— Так спросить надо было, гражданочка... Или инструкцию почитать, вон висит... Томка, — оборачивается она к соседке, — квартирные в пятой?

— В пятой, — отвечает Тома, заполняя какую-то ведомость под пристальным взглядом всунувшего крючковатый нос в ее окошко старика.

— Ну, вот видите...

Марина переходит к пятому окошку. Стоит. Отходит покурить на лестницу, за стеклянную дверь, бдительно следя, как продвигается перед ее окошком очередь из двух человек. Наконец настает ее час.

Кассирша долго читает платежку, потом, с сомнением покачав головой, куда-то звонит. Занято.

— Подождите минутку, — говорит она Марине. — Вон, можете присесть, я пока обслуживаю следующего клиента.

— Я очень спешу, — на выдохе, без голоса произносит Марина. Кассирша, пожав плечами, набирает номер снова. И дозванивается.

— Пал Семеныч? По квартирным ссудам как у нас?

Слушает, сокрушенно покачивая головой. Марина ждет.

— Ну, я так и думала, — говорит кассирша и вешает трубку. Поднимает на Марину глаза. — В банке нет сейчас денег, и по подобным ссудам мы выплат временно не производим. Мне очень жаль, но... ну нет денег. Вы же понимаете все, смотрите телевизор, наверное.

— Как нет денег?..

— Ну, нет.

— А где же они? — нелепо спрашивает Марина; кассирша только плечиком слегка пожимает. — Так как же мне...

— Подойдите к концу месяца... нет, лучше в середине следующего. У нас несколько трансфертов на подходе... может, в феврале часть таких платежей мы и пропустим, — что-то в лице Марины настораживает ее, она отшатывается. — Ну нет денег в банке, нет! Я-то что могу сделать!

Другой банк. Кассирша вертит в руках Маришину бумажку, потом протягивает через окошечко ей обратно.

— Нет, с «Эльдорадами» мы дел не ведем, — слегка как бы извиняясь и оправдываясь, говорит она. — Для нас, дама, это не документ, а филькина грамота. «Эльдорады» — они... они какие-то... — и делает красноречивую гримасу презрения и недоверия.

Роговцев проводит свой сеанс.

— И главное, — говорит он уверенно и веско, — вы должны полюбить эту жизнь. Не просто примириться с нею — простое примирение не поможет, потому что в подсознании у вас все равно будет копиться напряжение, чреватое срывом. Именно полюбить! Любовь...

Дверь с треском распаивается, и, волоча за собою вцепившуюся ей в локоть секретаршу, врывается Марина.

— Вы меня подставили? — кричит она в наступившей тишине. — Я просто хочу знать, вы меня нарочно подставили за какую-то там долю денег — или это совпало так?

Несколько секунд Роговцев растерянно, почти жалобно смотрит на нее. Потом берет себя в руки, лицо его становится жестким. Угрюмо и нехотя, как бы выполняя неприятный и совершенно бессмысленный долг чести, он спрашивает:

— Ну что такое еще случилось?

— Я была у вас вчера, — говорит Марина, — и вы посоветовали...

— Я помню, — отвечает Роговцев. — Но я не понимаю, по какому поводу... и по какому праву... вы тут устраиваете сцены.

Марина смеется.

— Меня ограбили, — говорит она. — Самым банальным образом, как дурочку. И я хочу знать...

— Боже, — мертво говорит Роговцев. — Это ужасно. Какое время, Марина, какое время... И нет ему конца.

— Вы же воевали вместе! — снова кричит Марина. Все уже ясно, но она не может так уйти. — Под пулями в горах в этих!..

Роговцев подходит к Марине вплотную.

— Да, — тихо произносит он. — Это было отвратительно. И очень подло. Мы как игрушки были... как фишки... со всем своим героизмом и товариществом. И теперь тоже. Что я могу поделать?

— Я сегодня же еду в Москву, — говорит Марина так же тихо. — В прокуратуру Минобороны. Не может быть, чтобы...

Она не договаривает. Ей просто нечем закончить эту фразу. Потому что — может быть. Давно и всем понятно, что — может.

И позтому Роговцев пожимает плечами и, горбясь, отворачивается. Слабо машет ей рукой: мол, уходите, женщина, не надрывайте мне сердце; оно мне еще пригодится.

Вокзал. Суeta. Переполненный перрон. Веселые компании уезжающих, пьяные и нищие... Старушки торговки, буквально пристающие к пассажирам: «Водочки не желаете? Пивко свежее», «Пирожки с пылу, с жару!»

Вдоль длинного состава, издалека, идет Марина. Вот она останавливается возле одного из проводников, проверяющего билеты, что-то говорит ему. Он что-то отвечает. Она опять что-то говорит. Он отрицательно качает головой. Марина идет к следующему — там повторяется та же сцена. Она идет к следующему...

Вагон в хвосте поезда — как после бомбежки. Выбитые стекла, облупленная краска, железо во вмятинах... Внутри — никого. Вероятно, его прицепили, чтобы перегнать на ремонт или на свалку. Но дверь его почему-то открыта, и на полу тамбура сидит, потягивая пивко, молодой парень в железнодорожной форме.

— Мне обязательно надо уехать этим поездом в Москву, — останавливаясь у этой двери, затверженно произносит Марина. Парень удивленно опускает руку с бутылкой.

— Так мест же полно... сунь любому...

— У меня не хватает денег.

Парень легко, точным движением встает.

— Сколько дашь?

— Семьдесят.

Он присвистывает разочарованно.

— У меня только полтораcта, и мне нужно вернуться сегодня же, — произносит Марина, — но это уже не вполне она. Зомби, из последних сил выполняющий неведомо чей приказ.

Парень разглядывает ее некоторое время.

— А садись! — вдруг азартно говорит он.

За окном купе проводника уплывают назад последние городские дома, начинаются пустыри, переходящие в пустоши. Снега, снега... Бьет колесами в разболтанные рельсы тяжелый состав.

— Случилось чего? — спрашивает парень Марину.

Она молчит. Остановившиеся тусклые глаза, мертвое лицо. Сумку с плеча она так и не сняла. Только пальто расстегнула — и сидит, чуть покачиваясь вперед-назад.

— Слушай, нам три часа ехать, — говорит парень, пересаживаясь к ней поближе. — Так молчать и будем?

Марина молчит.

— Ну ты даешь, — говорит проводник. — Как хоть звать-то тебя?

Марина молчит. Кажется, ее просто-напросто здесь нет — высохшая, покинутая душой оболочка.

Парню не по себе. Он достает из-под столика початую бутылку водки, из шкафчика — пару стаканов.

— Погреемся?

— Спасибо, — говорит Марина едва слышно, — я не буду.

— Н-ну, как знаешь. А я погреюсь, — парень наливает себе полстакана и выпивает неторопливо, с удовольствием. Крякает. Придвигается к Марине еще ближе, обнимает за плечи. — И тебя погрею. Ты ж замерзнешь, у нас не топят...

— Не нужно, — устало говорит Марина, — пожалуйста, не нужно.

— Нужно, — с ласковой настойчивостью говорит парень. — Ты сама не понимаешь, как это нужно. На себя-то посмотри! Тебе это нужно больше, чем мне!

— Не нужно...

— Слушай, а я тогда с тебя денег не возьму!

— Возьмите лучше деньги...

Стучат колеса. Летит за окном хмурый зимний день. Поля, поля, заснеженные полустанки, вросшие в измученную землю черные, перекошенные лачуги тонущих в снегу деревень, белые мохнатые провода... И голос Марины: усталый, безнадежный, и непонятно, к чему — к тому ли, что, возможно, происходит невидимо для нас в купе, или к тому, что мелькает за окном, — относится ее монотонное:

— Мне это не нужно... Мне это не нужно... Мне это не нужно...

Москва, площадь Трех вокзалов — суетливая, заваленная снегом. Марина почти бежит.

Уже начинается смеркаться, короткий зимний день на излете. Улица близ Министерства обороны. Марина растерянно озирается, потом, по-прежнему почти бегом, бросается куда-то дальше — наискось через улицу.

Длинный унылый коридор, битком набитый людьми. Мужчины и женщины, военные и гражданские... Так, наверное, в сталинские времена выглядели очереди родственников арестованных, ждущих хоть какой-то весточки о родных... В свете газосветных ламп все кажутся покойниками. Марина пытается пройти, рвется куда-то вперед, протискивается — ее не пускают. Сквозь сдержанный, слитный и смиренный гул голосов не слышно, что ей втолковывают, и не слышно, что она отвечает.

Какая-то сердобольная бабулька наклоняется к ней поближе, взяв под локоток:

— Да что ты, милая! Мы тут неделями сидим, только чтоб на прием записаться!

— Я не могу! — визжит Марина, вырывая локоть. — Я должна сегодня! Я должна к ночи вернуться домой! Он же с ума сойдет, если я не вернусь!! Пустите, пустите!!

Ее хватают — она начинает биться всерьез. Ну, тогда и за нее принимаются всерьез.

Марина на улице. У нее уже вид полубезумной — да и с одеждой творится Бог знает что после схватки в коридоре. Похоже, она снова где-то у вокзалов; и опять кругом роскошные, переполненные яркими товарами витрины, светящаяся разноцветными огнями ларьковая суета. Не протолкнуться. Но она вдруг замечает кабинку телефона-автомата, замирает на миг, а потом бросается к ней, словно осененная некоей новой спасительной мыслью, новой иллюзией. Марина не сдается, просто не может сдаться, она что-то еще пытается предпринять. Но у двери будки она останавливается, лезет в сумочку... Мертвеет. Шарит лихорадочно раз, другой... Из сумочки каким-то невероятным образом вываливается и шлепается в снег ее косметичка. Марина рывком

переворачивает сумочку — та аккуратно взрезана, вспорота, и только чудом из нее не вывалилось вообще все содержимое. Но теперь Марине даже не на что позвонить.

Вокзальный пикет милиции. Симпатичный лейтенант за столиком что-то шустро пишет, у стенки сидят два расхлюстанных, в хлам пьяных мужика.

— Да брось ты эту лабуду, — невнятно говорит один. — Ну, прогулялись, ну, выпили, ну, телок снять пошли... Где телку снять простому человеку? На вокзале... Начальники по гостиницам кадрят, а рабочие люди — на вокзалах... Чего такого?

— А ничего такого, Тимофеев, — мирно отвечает лейтенант. — Ровным счетом. Сейчас дооформлю — и ничего такого.

— Ну ты волчара...

— Жуткий, — соглашается лейтенант.

В дверь просовывается голова сержанта:

— Петр Андреич, бабу какую-то задержали. Вроде как не в себе...

— Датая?

— Да нет...

— Может, на игле?

— Не похоже. Интеллигентная такая, только пыльным мешком трахнутая.

— Ну, давай сюда.

Пока лейтенант дописывает, вводят Марину.

— Ну, и что она там вытворяла? — спрашивает лейтенант, откидываясь на спинку стула и с интересом разглядывая женщину. Да, действительно не в себе...

— К проводникам приставала. И все твердит: я должна успеть до вечера... я должна успеть до вечера... Когда к одному в пятый раз пристала, он ее нам сдал.

— Странно. Вот уж в поезд сесть не проблема. Сунул на лапу — и хоть во Владивосток...

— Да ей, похоже, и совать-то нечего, товарищ лейтенант, — сержант протягивает лейтенанту сумочку Марины. Тот в два движения осматривает ее со всех сторон, разевает ей пасть разреза и вновь ее смыкает.

— Элементарно, Ватсон, — говорит он. — А внутри... — лезет внутрь. — Бумаги какие-то... — просматривает. Мужики у стены, предоставленные самим себе, затихают — один просто заснул, другой пялится на Марину. Лейтенант с длинным присвистом чешет в затылке.

— Да-а... — поднимает к Марине лицо. — Как же вас угораздило, гражданочка? — мягко говорит он.

— Я должна вернуться к вечеру, — затверженно бубнит Марина. — Он с ума сойдет...

— Дуй в медпункт, — решает лейтенант. — Пусть Варвара сюда подскочит... и успокоительных притащит, что ли... Вы присядьте, гражданочка, пожалуйста, — ласково говорит он Марине. Та послушно садится, глядя на него с безумной детской надеждой — она так давно не слышала ласкового голоса, что теперь ей начинает казаться: вот оно, чудо, случилось наконец. Но опаматоваться она пока не может.

— Вы хоть помните, где живете? — мягко спрашивает лейтенант.

— Я должна вернуться к вечеру, — повторяет Марина. Лейтенант аж головой дергает от жалости.

— Что, козлы, — оборачивается он к сидящим у стенки мужикам. — Вот... вот кому запить! А вы! Уроды хреновы!

— Чего лаешься-то, чего лаешься, — отвечает тот, который не спит. — Может, она б и запила, да не на что! Бабли-то тю-тю!

— Дур-рак, — говорит лейтенант, и в этот момент поспешно входит сержант, а за ним — пожилая медсестра в пальто поверх белого халата.

— Вот, Варвара Никодимовна, пациентка вам, — говорит лейтенант. — Попробуйте ее хоть как-то оклемать...

Медсестра отводит Марину в сторону, в дальний угол.

— Паспорт-то был при ней? — спрашивает лейтенант.

— Был, — отвечает сержант. — Во... — протягивает лейтенанту. Тот читает.

— Да-а... Ближний свет. Ты бумаги ее видал?

— Мельком...

— Ну и как понимаешь?

— А чего тут понимать. В столицу правды искать приехала.

— Точ-чно. Вот и нашла... — он сокрушенно мотает лобастой головой. — Лучший город Земли, блин!

Медсестра в уголку, подальше от пьяных, что-то мягко втолковывает Марине, дает какие-то капли, какую-то таблетку...

Лейтенант опять чешет в затылке.

— Что делать-то нам с ней?

Марина, словно услышав и поняв, о ком идет речь, вскидывается:

— Я должна к вечеру успеть домой!

— Успеете, гражданочка, успеете, — мягко говорит лейтенант. — Не волнуйтесь только.

Вот точно так же каких-то несколько часов назад Марина просила не волноваться мужа...

— В таком состоянии ее одну оставлять нельзя, — тихо говорит сержант.

— Ну, может, очухается сейчас... от таблеток... Вот что. В семнадцать сорок, кажется, состав пойдет, а к нему санитарный вагон прицеплен. Помнишь, вчера уведомление было? Вот туда бы ее запихнуть. Там и доктор есть, присмотрит, если что... и остановку у них делает... — смотрит на часы. — Мать честная, осталось-то всего ничего! Дуй, ищи бригадира поезда! — и, повернувшись к медсестре, спрашивает: — Ну, Варвара Никодимовна, как наши с гражданочкой дела?

— Как сажа бела, — отвечает медсестра.

— Нет-нет, — вдруг едва слышно говорит Марина, — я все слышу. Я уже... все понимаю. Простите меня, пожалуйста.

— Слава Богу! — говорит лейтенант.

Медсестра, придерживая Марину под локоть, провожает ее к вагону.

— Вот тут и доедешь, милая, — говорит она. — Остановку-то свою знаешь?

— Да, конечно. Спасибо вам огромное, Варвара Никодимовна.

— Да что ты, что ты... Вот сумочка твоя, вот паспорт... спрячь поглубже. Вот бумаги мужнины. Ты их в сумочку-то не клади, запихни куда-нибудь за

пазуху. А вот, — она достает из-под пальто, из кармана халата небольшую баночку с какими-то таблетками, — это возьми тоже с собой. Чтоб не волноваться. Только сейчас не принимай — одуреешь в дороге. Сейчас я тебе все, что надо, дала... А это как приедешь, на ночь. И только одну, поняла? Не больше одной в сутки, на сон грядущий, чтоб спать хорошо и ни о чем не думать. Оно сильное. Поняла?

— Все поняла, Варвара Никодимовна.

— Ну, с Богом... Не горюй, голуба, все образуется.

— Я знаю, Варвара Никодимовна.

Марина садится в вагон.

И снова — поезд, снова колотится полотно дороги под колесами вагонов. За окнами плывет тьма, и во тьме — неведомые, загадочные огни... Вагон — видимо, от электрички; никаких купе, никаких плацкартных полок — только деревянные сиденья, и на них вповалку, кто как, лежат и сидят раненные ребята. Тяжело раненных не видно; те, кто лежит, подтянув колени к подбородку, скорее всего, просто спят; но Бог их знает. Рука на перевязи, костыль и загипсованная нога, голова в бинтах... Где-то пьют водку, передавая единственный стакан по рукам. Где-то бренчат на гитаре и поют нестройным хором:

Я люблю строенье автомата,
Нравится мне, как стреляет он.
И роднее мне родного брата — брата! —
Прыгающий маленький патрон...
Пусть в штабе командир-надежда
Решает, как нам дальше быть, —
Дежурный автоматчик, лежа,
Огнем сумеет всех прикрыть.
Пока что надобности нету.
Стоит он каменным столбом.
Приклад прижался, как собака,
Меж третьим и вторым ребром...

Напротив пристроившейся в углу Марины сидит молодой парень, мальчик, в сущности, с туго и обильно забинтованной головой — и все равно слева над ухом проступило пятно крови.

— Вот ты, тетя Марин, — говорит он ей как своей, — со мной как с нормальным человеком разговариваешь, да? А я ненормальный. Я такой злой теперь, что... раньше даже и представить не мог, что бывает такая злость. На все, на всех. На весь белый свет. Кого я защищал? От кого? Я вот оклемаюсь и всех подлецов мочить пойду. Что-то много их развелось. Шкуры... Так каши не сварить. Я их, сук, косить буду!

— Не надо никого убивать, — с трудом разлепляя губы, устало и безо всякой надежды на то, что ее слова хоть что-то могут, говорит Марина.

— Надо! Не надо! Что это значит? Кореш мой... вон спит, через проход — он креститься собрался, в монахи хочет... Отмаливать, что ли... или уж я не знаю. Откуда он знает, надо ему это или нет? Просто хочется! А мне — наоборот. Вот как... — до него доходит черед стакана; он, прервавшись, заглатывает свою долю одним махом и по рукам пускает тару назад. Продолжает чуть перехваченным голосом: — Вот как выходит, тетя Марин. Полтора

года вместе оттрубили... бок о бок, спина к спине. Он меня спасал, я его спасал... а теперь расходятся наши дорожки так, что не приведи им когда-нибудь хоть на минутку пересечься. Вот... В разные стороны люди живут, тетя Марин, в разные...

Рокошет поезд, плывут размытые огни за обледенелыми стеклами.

— Интересно, — задумчиво спрашивает парень в пространство, — а умирают они тоже в разные стороны?

Плывут огни.

И снова ночной город, снова Марина бредет полной горящих витрин и реклам улицей. Снега навалило столько, что трудно идти, и однажды Марине встречается по пути натужно загребающий сугробы у обочины снегоочиститель.

На углу, у небольшого сквера, особенное оживление. Польшают какие-то фейерверки, висят на кустах гирлянды разноцветных лампочек, словно и впрямь — Новый год. Притулился между сугробами «рафик» организаторов-затейников. Слышны какие-то выкрики, небольшая толпа окружает польшающий центр. Кто-то приплясывает, подхлопывает, ухает азартно... Сухо лопаются хлопущки.

— Лотерея «Третье тысячелетие»! — кричит кто-то в мегафон. — Мгновенная лотерея! Начало новой эпохи! Конец страшного двадцатого века! Испытайте свою судьбу!

Марина замирает, потом, чуть улыбнувшись, медленно, как в забытии, идет туда, где весело. На ее лице проступает что-то совсем детское, глубинное. Она неторопливо проталкивается сквозь оживление и гомон — а там, в центре, что-то вроде бреда. То ли согреваясь, то ли веселясь — скорее всего, и то и другое сразу, — взявшись за руки лицами друг к другу, подпрыгивая на месте и по-детски отбрасывая в стороны то левую ногу, то правую, пляшут вместе Горбачев и Ельцин. На ступеньке открытой дверцы «рафика» сидит Сталин в накиннутой поверх мундира расстегнутой шинели с колоссальными звездами генералиссимуса на погонах и задумчиво пощипывает струны гитары:

— Товарищ Сталин, вы большой ученый...

— Петюнька! — возмущенно кричит ему женский голос изнутри «рафика», — прекрати петь, горло застудишь! Мороз!

— Я репетирую, — важно отвечает Сталин.

В двух шагах от них красавец царь Николай наливает себе водки в пластиковый стакан. Поворачивается чуть в сторону, спрашивает Ленина, мерзнущего в пальтеце и кепке:

— Будешь?

— Конечно, буду, что за вопрос, — отвечает Ленин.

Николай запросто извлекает другой стакан из кармана своей широкой царственной шинели и наливает.

— За такие вопросы, батенька, — говорит Ленин, картавя, — можно и в Екатеринбург угодить! Архипросто!

Они чокаются.

— Чем моя яма хуже твоего мавзолея? — спрашивает царь с ухмылкой.

Истерически мечется один из затейников.

— Где Хрущев? Куда, на хрен, Хрущев провалился?

— Да не ори ты, — говорит Сталин, — он отлить пошел. Сейчас вернется...

Марина обалдело смотрит на происходящее, непроизвольно продолжая помаленьку двигаться вперед. Постепенно выжидающая, нерешительно веселящаяся сама по себе толпа оказывается у Марины за спиной, а сама она — прямо перед организаторами. По лицу ее прыгают радужные отсветы. И к ней, толкая впереди себя украшенный болтающимися цветными лампочками лоток на колесах, уже бегут.

— Здравствуйте, — жизнерадостно говорит чуть хмельной затейник, только что искавший Хрущева. — Как вас зовут?

Марина отвечает не сразу — словно какое-то мгновение мучительно вспоминает, как же, собственно, ее зовут.

— Марина.

— Очень приятно, Марина. Совсем немного остается до начала двадцать первого века, о котором так часто и обильно писали фантасты, — затверженно тараторит затейник. — Наша лотерея — это своего рода проба того, как в новом веке сложится ваша жизнь. Повезет сегодня — будет везти весь век. Испытайте судьбу!

Марина несколько секунд молчит. Потом отвечает негромко и мертво:

— Я уже все знаю.

Затейник что-то чувствует, потому что его рабочая улыбка гаснет, он чуть теряется. Потом берет себя в руки. Переведя взгляд на нерешительную толпу позади Марины, он вскидывает мегафон ко рту:

— Женщина выиграла! Смотрите все — не прошло и минуты, а она уже выиграла! Вот приз! — он сует руку в свой лоток и вынимает бутылку шампанского. Вручает Марине; та автоматически берет, не вполне понимая, что происходит. — Поздравим женщину по имени Марина! Счастье в будущем веке ей обеспечено! — опускает мегафон. — Я, во всяком случае, вас поздравляю, — говорит он Марине, улыбаясь очень по-доброму и с состраданием. — Всего вам хорошего.

Марина, держа бутылку за горлышко, сильно хромая, уходит в темноту сквера.

— Счастливая женщина Марина выиграла! — удаляясь, гремит позади. — Кто еще счастливый? Подходите!

Где-то вдалеке лязгает и визжит на повороте трамвай.

И снова, как вначале, темноту медленно и робко прокалывает движущийся будто бы издалека огонек свечи. Постепенно становится видно, что огарок, стоящий на блюдце, несет женщина; она идет из коридора, входит в комнату и ставит свечу на столик у изголовья постели.

— Ну, вот, — говорит Марина, — я все и уладила. А ты волновался... Все пустяки, Сашенька, все пустяки... — она чуть наклоняется и гладит его бессильно лежащую поверх одеяла руку. — Не могла же я тебя подвести... Я же никогда тебя не подводила, правда? Я у тебя девчонка преданная...

— Ы...

— А сейчас мы отпразднуем. Я даже шампанским разжила по такому случаю. Свет не без добрых людей, Сашенька... Смешно звучит, старомодно, да? Но это правда...

Она разливает шампанское по бокалам, потом, не скрываясь, достает из-за пазухи склянку, которую дала ей медсестра, высыпает все таблетки горкой на ладонь и делит пополам. Одну часть сыпает в свой бокал, другую — в бокал

мужа. Разбалтывает таблетки чайной ложечкой; взбудораженное шампанское кипит. Александр смотрит.

Марина подает ему бокал; держит его одной рукой, другой — поддерживает голову мужа. Александр пьет, и Марина с материнской заботой наклоняет бокал все сильнее, чтобы пилось удобнее. Когда бокал пустеет, Марина неторопливо выпивает свой.

— Как вкусно, — говорит она тихо. — Давно мы с тобой шампанское не пили, правда?

Марина ложится рядом с ним — щека к щеке. Гладит его голову, прижимает к себе.

— Я тебе очень благодарна, — шепчет она. — За все, за все... за каждый день. За то, как ты поцеловал меня тогда первый раз... в автобусе, в давке, будто случайно... мы с тобой ехали из парка, и нас ужасно придавили друг к другу, лицом к лицу... А я так и ждала, что ты меня поцелуешь. Ты стеснялся, и я стеснялась, а уже тогда были муж и жена, сразу. Я так тебя люблю, Саша, так... И я знаю, ты — тоже. Это либо есть, либо нет. Но если уж есть... все остальное далеко, неважно.

— Ы...

Пауза.

— Солнышко... — говорит она. — Скоро солнышко пригреет, придет лето... И озера чистые-чистые... Мы всегда будем вместе, — уже невнятно, уже едва слышно лепечет она и прижимается, прижимается щекой к его щеке. — Никогда не расстанемся. А они... они — пусть думают, что живут...

Потом слов уже не понять — она еще воркует что-то, но все слабее. Наконец становится тихо. Огарок на блюде оплывает, догорает.

Гаснет.

Май — июнь 1997